

Юрий Колкер
МОЯ ПЕРЕПИСКА СО ЛЬВОМ ЛОСЕВЫМ
(1985-1988)



Судьба не свела меня со Львом Лосевым (1937-2009) ни в Ленинграде, где мы оба родились и прожили полжизни (и где у нас было немало общих литературных знакомых), ни в эмиграции, где он оказался в 1976 году, а я — в 1984 году. Знакомство так и осталось заочным, эпистолярным. При начале переписки мы оба чувствовали расположение друг к другу; потом разного рода несогласия поссорили нас.

В январе 1985 года, уже из Иерусалима, я послал Лосеву в Америку рукопись моей статьи 1983 года о дерзкой и остроумной мистификации поэта Владимира Лифшица (1913-1978), отца Лосева, в советское время напечатавшего «переводы» из вымышленного английского поэта Джеймса Клиффорда, в которых дан страшный образ советского тоталитаризма.

Сохранилось пять моих писем к Лосеву, шесть его писем ко мне и его «внутри-издательский» отзыв на мою статью 1987 года о Бродском. Эта коллекция документов представительна: хорошо отражает наши с Лосевым характеры, наши отношения в их развитии и даёт представление о состоянии литературных дел в эмиграции той поры (все письма так или иначе связаны с литературой), но она — неполна: несколько писем утрачено. Сохранился фрагмент одного утраченного письма Лосева, где он сообщает о своем отце следующее: в июне 1941 года, освобожденный от военной службы по инвалидности (по зрению), Лифшиц «записался добровольцем, воевал уже в первые летние дни, вывел из окружения остатки своего батальона, был ранен, получил награды за храбрость (их в те дни не слишком щедро выдаваемые людям с еврейскими фамилиями), в блокадном Ленинграде писал стихи, которые и теперь старые блокадники вспоминают со слезами».

Я воспроизвожу письма без пропусков, с сохранением их графики, не всегда общепринятой, с исправлением только очевидных опечаток, а необходимые пояснения даю преимущественно в квадратных скобках непосредственно в тексте, что облегчает чтение.

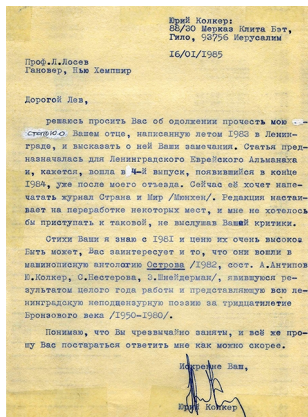
Любопытный момент: не сохранилось письма с отзывом Лосева о моей первой книге стихов; и память не удержала ни слова из его критики.

Разрешение на публикацию писем Льва Лосева я получил от сына писателя, Д. Л. Лосева, в его электронном письме ко мне от 31 августа 2010 года.

Юрий Колкер:
88/30 Мерказ-Клита Гило Бэт,
Гило, 937565 Иерусалим
16/01/1985

Проф. Л. Лосев
Гановер, Нью-Хемпшир

Дорогой Лев,



решаюсь просить Вас об одолжении прочесть мою статью о Вашем отце, написанную летом 1983 в Ленинграде, и высказать о ней Ваши замечания. Статья предназначалась для Ленинградского Еврейского Альманаха [машинописного] и, кажется, вошла в 4-й выпуск, появившийся в конце 1984 [ЛЕА №4, август 1984], уже после моего отъезда. Сейчас её хочет напечатать журнал *Страна и Мир* (Мюнхен) [напечатана была в

Континенте №48, 1986]. Редакция настаивает на переработке некоторых мест, и мне не хотелось бы приступить к таковой, не выслушав Вашей критики.

Стихи Ваши я знаю с 1981 и ценю их очень высоко. Быть может, Вас заинтересует и то, что они вошли в машинописную антологию *Острова* (1982, сост. А. Антипов, Ю. Колкер, С. Нестерова, Э. Шнейдерман), явившуюся результатом целого года работы и представляющую всю ленинградскую неподцензурную поэзию за тридцатилетие Бронзового века (1950-1980).

Понимаю, что Вы чрезвычайно заняты, и всё же прошу Вас постараться ответить мне как можно скорее.

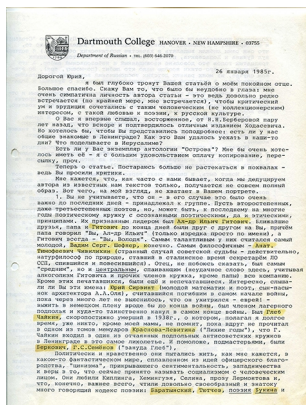
Искренне Ваш,

Юрий Колкер

26 января 1985 г.

Дорогой Юрий,

я был глубоко тронут Вашей статьёй о моём покойном отце. Большое спасибо. Скажу Вам то, что было бы неудобно в глаза: мне очень симпатична личность автора статьи — это ведь довольно редко встречается (по крайней мере, мне встречается), чтобы критический ум и эрудиция сочетались с таким человеческим (не коллекционерским) интересом, с такой любовью к поэзии, к русской культуре.



О Вас я впервые слышал, восторженное, от Н. Н. Берберовой пару лет назад, что вскоре и подтвердилось отличным изданием Ходасевича [Владислав Ходасевич. Собрание стихов в двух томах. (Составление, биографический очерк), редакция и примечания Юрия Колкера. La Presse Libre, Paris, 1982-83.]. Но хотелось бы, чтобы Вы представились поподробнее: есть ли у нас общие знакомые в Ленинграде? Как это Вам удалось уехать в наши-то дни? Что поделяваете в Иерусалиме?

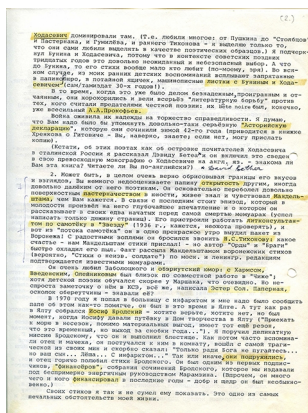
Есть ли у Вас экземпляр антологии «Острова»? Мне бы очень хотелось иметь её — я с большим удовольствием оплачу копирование, пересылку, проч.

Теперь о статье. Постараюсь больше не растекаться в похвалах — ведь Вы просили критики.

Мне кажется, что, как часто с нами бывает, когда мы де-дуцируем автора из известных нам текстов только, получается не совсем полный образ. Вот чего, на мой взгляд, не хватает в Вашем портрете.

1. Вы не учитываете, что он — в его случае это было очень важно до последних дней — принадлежал к группе.

Пусть второстепенных, даже третьестепенных поэтов, но, может быть, к последнему на многие годы поэтическому кружку с осознанными поэтическими, да и этическими, принципами. Их признанным лидером был Ал-др Ильич Гитович. Ближайшие друзья, папа и Гитович до конца дней были друг с другом на Вы, причём папа говорил «Вы, Ал-др Ильич» (только изредка просто по имени), а Гитович всегда — «Вы, Володя». Самым талантливым у них считался молодой, Вадим Серг. Шефнер, конечно. Самым философичным — Анат. Тимофеевич Чивилихин (странный случай советской судьбы — действительно, натурфилософ по природе, ставший в сталинское время секретарём ЛО ССП [т. е. ленинградского отделения союза советских писателей], спившийся и повесившийся). Отец, не побоюсь сказать, был самым «средним», но и центральным, спаивающим (неудачное слово здесь, учитывая алкоголизм Гитовича и прочих членов кружка, кроме папы) всю компанию. Кроме этих печатавшихся, были ещё и непечатавшиеся. Интересно, слышали ли Вы эти имена: Юрий Сирвинт (молодой математик и поэт, сын-пасынок архитектора А. А. Оля), считавшийся погибшим в самом начале войны, пока через много лет не выяснилось, что он ухитрился — еврей! — выжить в немецком плену вроде бы до конца войны, был членом лагерного подполья и куда-то таинственно канул в самом конце войны. Был Глеб Чайкин, скоропостижно умерший в 1938 г., о котором, полагал я долгое время, уже никто, кроме моей мамы, не помнит, пока вдруг не прочитал в одном из томов мемуаров Краснова-Левитина («Лихие годы»), что Г. Чайкин входил в один из отчаянных подпольных антисоветских кружков в Ленинграде в это самое лихолетье. И помоложе, подмастерьями, были Бернович, Г. С. Семёнов («зануда Глеб»).



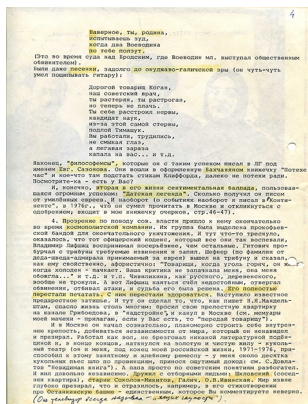


Политически и нравственно они пытались жить, как мне кажется, в каком-то фантастическом мире, сплавленном из идей офицерского благородства, «цинизма», прикрывающего сентиментальность, западничества и веры в то, что сейчас принято называть социализмом с человеческим лицом. Они любили Киплинга, Хемингуэя, Селина, прозу Лермонтова и, что, конечно, важнее

всего, чтли довольно своеобразный и знатоку много говорящий кодекс поэзии: Баратынский, Тютчев, поэзия Бунина и Ходасевич доминировали там. (Т. е. любили многое: от Пушкина до «Столбцев» и Пастернака, и Гумилёва, и раннего Тихонова — я выделяю только то, что они сами любили выделять в качестве поэтических образцов.) Я подчеркнул Бунина и Ходасевича, потому что в контексте советских поздних тридцатых годов это довольно неожиданной и небезопасный выбор. А что до Бунина, то его стихи вообще мало кто любит (по-моему, зря). Во всяком случае, из моих ранних детских воспоминаний всплывают запрятанные в папино бюро, в потайной ящичек, машинописные листки с Буниным и Ходасевичем (сам/тамиздат 30-х годов!).

В то время, когда это уже было делом безнадежным, проигранным и отчаянным, они хорохорились и вели всерьёз «литературную борьбу» против тех, кого считали предателями честной поэзии: их *bête noire* был, конечно, уже всесильный А. А. Прокофьев.

Война оживила их надежды на торжество справедливости. Я думаю, что Вам надо было бы упомянуть довольно-таки серьёзную «Ас-

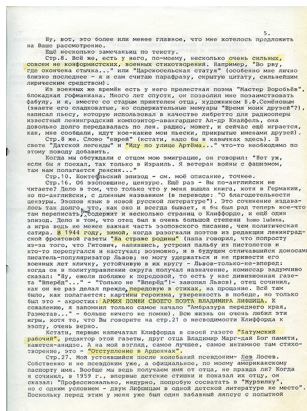


торийскую декларацию», которую они сочинили зимой 42-го года (приводится в книжке Хренкова о Гитовиче — Вы, наверно, знаете; если нет, могу прислать копию).

(Кстати, об этих поэтах как об островке почитателей Ходасевича в сталинской России я рассказал Дэвиду Бетеа (David Bethea) и он включил эти сведения в свою превосходную монографию о Ходасевиче на англ. яз. — знакома ли Вам эта книга? Читаете ли Вы по-английски?)

2. Может быть, в целом очень верно обрисовывая границы его вкусов и взглядов, Вы немного недооцениваете папину открытость другим, иногда довольно далёким от него поэтикам. Он основательно переболел довольно поверхностным пастерначеством в юности, живее знал и чувствовал Мандельштама, чем Вам кажется. В связи с последним стоит эпизод, который в молодости произвёл на него глубочайшее впечатление и о котором он рассказывает в своих едва начатых перед самой смертью мемуарах (успел написать только дюжину страниц). Его пристроили работать литконсультантом по самотёку в «Звезде» (1936 г., кажется, неохота проверять), и вот из «потока самотёка» он в одно прекрасное утро выудил пакет из Воронежа! С радостными воплями он бросился звонить Н. С. Тихонову: какое счастье — нам Мандельштам стихи прислал! — но автор «Орды» и «Браги» быстро охладил его пыл. Факт рассыла Мандельштамом воронежских стихов (вероятно, «Стихи о неизв. солдате») по моск. и ленингр. редакциям подтверждается известными мемуарами.

Он очень любил Заболоцкого и обэриутский юмор: с Хармсом, Введенским, Олейниковым был близок по совместной работе в «Чиже»; хотя детской поэзии обучался скорее у Маршак, что очевидно. Но неспроста заметочку о нём в КСЭ, всё же, написала Эстер Сол. Паперная, осколок оберутчины —



знавали её?

В 1970 году я попал в больницу с инфарктом и мне надо было сообщить папе об этом как-то помягче, он был в это время в Ялте. А тут как раз в Ялту собрался Иосиф Бродский — хотите верьте, хотите нет, но был момент, когда Иосифу давали путёвку в Дом творчества в Ялту («Приехать к морю в несезон, помимо материальных выгод, имеет тот ещё резон, что это временный, но выход за скобки года...»). Я поручил деликатную миссию Бродскому, что он и выполнил блестяще. Как потом часто вспоминали отец и мачеха, он постучался к ним в комнату, вошёл с самой трагической из своих мин и скорбно сказал: «Только ради Бога не пугайтесь... но ваш сын... Лёша... С инфарктом...» Так или иначе, они подружались, и отец горячо любил стихи Бродского. Он был одним из первых подписчиков, «финансёров», собрания сочинений Бродского, которое мы издавали под беспримерно энергичным руководством Марамзина. (Впрочем, он много чего и ко-го финансировал в последние годы — добр и щедр он был необыкновенно.)

Своих стихов я так и не сумел ему показать. Это одно из самых печальных обстоятельств моей жизни.

3. Ещё, мне кажется, Вы невольно упустили из виду одну в жизни каждого поэта немаловажную деталь: при всей скромности своих внешних достижений он, всё же, вкусил славы — популярности, хотя и не совсем той, какой бы ему хотелось. Во-первых, и это, конечно, в чисто комическом плане, был период, конец 50-х-начало 60-х гг., когда ему проходу не было — из каждой подворотни слышал он собственные творения: не было алкаша, который бы не распевал «Пять минут, пять мину-у-ут...» или «Сто тысяч девчонок в столице живёт и полмиллиона курносых...» или «Ах, Таня, Таня, Танечка, с ней случай был такой...» (Люба, Люба, Любочка — это уже из скабрёзной народной переделки).

Серьёзнее — он очень всерьёз относился к своим сатирическим опытам. С удовольствиям повторял фразу какого-то московского остряка: «Теперь модно пародироваться у Лиф-

шица». Эти пародии были очень популярны, как прежде Архангельского, а позднее А. Иванова. Их и сейчас помнят. Недавно в Бозе почивший ньюйоркский журнал «7 дней», как-то напечатал целую их подборку. Некоторые из его непечатных эпиграмм приобрели в лит. кругах фольклорную ходячесть и анонимность:

Семён Михайлович Будённый,
Семён Михалыч Бытовой.
Один — любитель жизни конной,
другой — любитель половой.

Есть пивная на Литейном
под названием «Уют»,
в заведеньи том питейном
люди русские блюют.
Отчего-то, почему-то
на Руси, ...на мать,
не заведено уюта
без того, чтоб не блевать!

Наверное, ты, родина,
испытываешь зуд,
когда два Воеводина
по тебе ползут.

(Это во время суда над Бродским, где Воеводин мл. выступал общественным обвинителем).

Были даже песенки, задолго до окуджаво-галичской эры (он чуть-чуть умел пощипывать гитару):

Дорогой товарищ Коган,
наш советский врач,
ты растерян, ты растроган,
но теперь не плачь.
Ты себе расстроил нервы,
кандидат наук,
из-за этой самой стервы,

подлой Тимашук.
Вы работали, трудились,
не смыкая глаз,
а легавая зараза
капала на вас... и т.д.

Наконец, «философемсы», которые он с таким успехом писал в ЛГ [московской Литературной газете] под именем Евг. Сазонова. Они вошли в оформленную Бахчаняном книжечку «Потехе час» и кое-что там подстать стихам Клиффорда, далеко не потехи ради. Посмотрите-ка — есть у Вас?

И, конечно, вторая в его жизни сентиментальная баллада, пользовавшаяся огромным успехом: «Датская легенда». Сколько получил он писем от умилённых евреев. И наоборот (о событиях наоборот я писал в «Континенте», в 1976 г., что он сумел прочесть в Москве и откликнуться с одобрением; входит в мою книжечку очерков, стр.46-47) .

4. Прозрение по поводу сов. власти пришло к нему окончательно во время космополитской компании. Их группа была выделена прокофьевской бандой для окончательного уничтожения. И тут что-то треснуло, оказалось, что тот офицерский кодекс, который все они так воспевали, Владимир Лифшиц воспринимал посерьёзнее, чем остальные. Гитович пробурчал с трибуны требуемые извинения и запил. Шефнер (по фамилии от деда-шведа-адмирала принимаемый за еврея) вышел на трибуну и сказал, как ему свойственно, афористично: «Товарищи, когда уголь горяч, он жжет, когда холоден — пачкает. Ваша критика не запачкала меня, она меня обожгла...» и т.д. и т.п. Чивилихина, как русского, деревенского, вообще не тронули. А вот Лифшиц каяться счёл недостойным, отвергал обвинения, отбивал атаки, и судьба его была решена. Его полностью перестали печатать. С ним перестали здороваться. Наступило известное предарестное затишье. И тут он сделал то, что, как пишет Н. Я. Мандельштам, спасло жизнь столь многим: бросил свою прелестную квартирку на канале Грибоедова, в «надстройке», и канул в Москву (см. мемуары моей мачехи — прилагаю, если у Вас есть, то «передай товари-

щу») [письмо и несколько книг от Лосева, в том числе книгу Ирины Кичановой-Лифшиц *Прости меня за то, что я живу* (NY, 1982), привез мне Юз Алешковский, гостивший в 1985 году в Израиле. Название книги Кичановой — строка из стихотворения Владимира Лифшица].

И в Москве он начал сознательно, планомерно строить себе внутреннюю крепость, добиваться независимости от мира, который он ненавидел и презирал. Работал как вол, не брезговал никакой литературной подёнщиной и, в конце концов, наткнулся на золотую и чистую жилу — кукольный театр (он и меня, под конец моей российской жизни, 1971-1976, приспособил к этому занятому и хлебному ремеслу — у меня около десятка кукольных пьес шло по провинциям, принося ощутимый доход: см. С. Довлатов «Невидимая книга»). А папа просто по советским понятиям разбогател. И жил довольно независимо. Дружил с отборными людьми: Шкловский (соседняя квартира), старик Соколов-Микитов, Галич, О. В. Ивинская. Мир извне глубоко презирал, что и отразилось, например, в его стихотворении про Останкинскую башню — единственным, которое Вы комментируете неверно. [Лифшиц сравнивает шпиль Останкинской башни с вонзившимся в небо шприцем; в первой редакции моей статьи я допускал, что это — не сатирический выпад, а невольная оговорка.] (Он телевизор всегда называл — «ящик глупости»).

Ну, вот, это более или менее главное, что мне хотелось предложить на Ваше рассмотрение.

Ещё несколько замечаний по тексту.

Стр. 8. Всё же, есть у него, по-моему, несколько очень сильных, совсем не конформистских, военных стихотворений. Например, «Во рву, где окончена стычка...» или «Царскосельская статуя» (особенно мне лично близко последнее — я и сам считаю парафразу, скрытую цитату, сильнейшим лирическим средством).

Из военных же времён есть у него прелестная поэма «Мастер Воробьёв», блокадная гофманиана. Много лет спустя, он позволил мне позаимствовать фабулу, и я, вместе со

старым приятелем отца, художником Б. Ф. Семёновым (знаете его сладковатые, но содержательные мемуары «Время моих друзей»?) написал пьесу, которую использовал в качестве либретто для радиооперы известный ленинградский композитор-авангардист Ал-др Кнайфель, она довольно долго передавалась по лен. радио, может, и сейчас ещё играет, как, мне сообщали, идут кое-какие мои пьески, прикрытые именами друзей.

Стр. 8 же. Слово «еврей» (кстати, надо бы в кавычках здесь) [Лосев не знал, и я не стал ему объяснять, что я использую кавычки только для выделения цитат; для внимательного и вдумчивого читателя сочетание *слово еврей* никаких кавычек не требует]. В свете «Датской легенды» и «Иду по улице Артёма...» что-то необходимо по этому поводу добавить. Когда мы обсуждали с отцом мою эмиграцию, он говорил: «Нет уж, если бы я поехал, так только в Израиль. Я ветеран войны с фашизмом, там нам полагается пенсия...»

Стр. 10. Коктебельский эпизод — см. моё описание, точнее.

Стр. 16. Об эзоповщине, цензуре. Ещё раз — Вы по-английски не читаете? Дело в том, что только что у меня вышла книга, хотя в Германии, но по-английски, с длинным названием (в переводе: «О благодетельности цензуры. Эзопов язык в новой русской литературе»). Это сочинение издавалось так долго, что, как оно и всегда бывает, я бы был рад теперь кое-что там переписать. Оно содержит и несколько страниц о Клиффорде, и ещё один эпизод. Дело в том, что отец был в очень большой степени *homo ludens*, а игра ведь не менее важная часть эзоповского писания, чем политическая сатира. В 1944 году, зимой, когда разогнали поэтов из редакции ленинградской фронтовой газеты «На страже родины» (папа говорил, что попросту из-за того, что Гитович, напившись, устроил пальбу из пистолетов и кто-то перепугался и наступал; возможно, и в будущем отличавшийся доносами писатель-популяризатор Львов; не могу удержаться и не привести его военных лет кличку, устойчивую в их кругу — Львов-

только-не-вперед: когда он в политуправлении округа получал назначение, комиссар задумчиво сказал: «Ну, ежели поближе к передовой, то есть у нас дивизионная газета "Вперёд"...» — «Только не "Вперёд"!»! — завопил Львов), отец сочинил, как он не раз делал прежде, передовую в стихах, на прощание. Всё там было, как полагается: картины героизма, уверенность в победе, но только был это — акростих: АРМИЯ ПОМНИ СВОЕГО ПОЭТА ВЛАДИМИРА ЛИФШИЦА. К сожалению, я запомнил только самое начало «Амбразура переднего края, Разметав...» — больше ничего не помню. Всю жизнь он очень любил эти игры, хотя то, что Вы говорите на стр. 21 о несводимости Клиффорда к эзопу, очень верно.

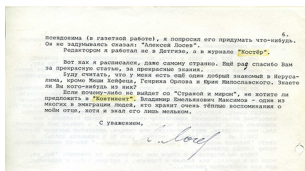
Кстати, первым напечатал Клиффорда в своей газете «Батумский рабочий», редактор этой газеты, друг отца Владимир Марг- дай Бог памяти, кажется -анидзе. А на мой взгляд, самое лучшее, самое интимное там стихотворение, это — «Отступление в Арденнах».

Стр. 27. Мой устоявшийся после колебаний псевдоним — Лев Лосев [в ленинградском самиздате Лев Лосев был поначалу известен как Алексей Лосев; под этим псевдонимом он, к этому времени уже эмигрант, вошёл и в ленинградскую самиздатскую антологию *Острова* (1983)]. Собственно и не псевдоним уже, а официальное, по моему американскому паспорту имя. Вообще мы ведь получаем имя от отца, не правда ли? Когда я сочинил, в 1959 г., впервые детские стишки и показал их отцу, он сказал: «Профессионально, недурно, попробую сосватать в "Мурзилку", но с одним условием — двум Лифшицам в одной детской литературе не место». Поскольку перед этим у меня уже был один забавный ляпсус с попыткой псевдонима (в газетной работе), я попросил его придумать что-нибудь. Он не задумываясь сказал: «Алексей Лосев».

Редактором я работал не в Детгизе, а в журнале «Костёр».

Вот как я расписался, даже самому странно. Ещё раз спасибо за прекрасную статью, за прекрасные знания.

Буду считать, что у меня есть ещё один добрый знакомый в Иерусалиме, кроме Миши Хейфеца, Генриха Орлова и Юрия Милославского. Знаете ли Вы кого-нибудь из них?



Если почему-либо не выйдет со «Страной и миром», не хотите ли предложить в «Континент». Владимир Емельянович Максимов — один из многих в эмиграции людей, кто хранит очень тёплые воспоминания о моём отце, хотя и знал его лишь мельком.

С уважением —

Л. Лосев

В том же письме от 26 января 1985 года, на отдельном листе, Лосев приводит неопубликованное к тому времени стихотворение Владимира Лифшица и пояснения к нему:

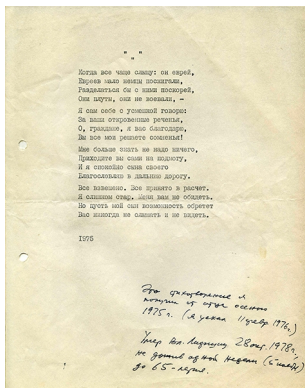
* * *

Когда все чаще слышу: он еврей,
Евреев мало немцы посжигали,
Разделаться бы с ними поскорей,
Они плуты, они не воевали, —

Я сам себе с усмешкой говорю:
За ваши откровенные реченья,
О, граждане, я вас благодарю,
Вы все мои решаете сомненья!

Мне больше знать не надо ничего,
Приходите вы сами на подмогу,
И я спокойно сына своего
Благословляю в дальнюю дорогу.

Все взвешено. Все принято в расчет.
Я слишком стар. Меня вам не обидеть.
Но пусть мой сын возможность обретет
Вас никогда не слышать и не видеть.

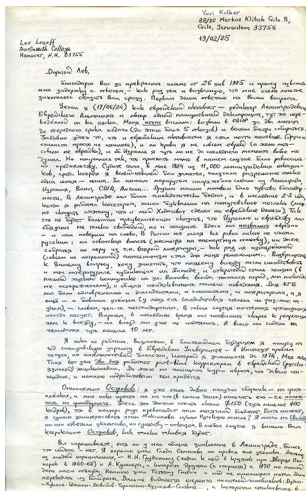


Это стихотворение я получил от отца осенью 1975 г. (я уехал 11 февр. 1976 г).

Умер Вл. Лифшиц 28 окт. 1978 г., не дожив одной недели (5 ноября) до 65-летия.

Yuri Kolker
88/30 Merkaz Klita Gilo B,
Gilo, Jerusalem 93756
19/02/85

Lev Loseff
Dartmouth College
Hanover, N.H. 03755



Дорогой Лев,

благодарю Вас за прекрасное письмо от 26 янв 1985 и прошу извинить мою задержку с ответом, — как раз тем и вызванную, что мне очень много захотелось сказать Вам сразу. Первым делом отвечаю на Ваши вопросы.

Уехал я (17/06/84) как еврейский активист — редактор Ленинградского Еврейского Альманаха и автор одной нашумевшей декларации, тут же переведенной на все языки. Меня почти выслали: вызвали в

ОВИР за два месяца до очередного срока подачи (до этого было пять отказов) и велели быстро собираться. Забавно здесь то, что и еврейским активистом я стал почти поневоле (другого стилиста просто не нашлось), и по крови я не совсем еврей (а жена моя — совсем не еврейка), и об Израиле я чуть ли не до последнего момента вовсе не думал. Но получилось так, что проехать мимо в нашем случае было равносильно предательству. Судите сами, в мае 1984 из 11,000 ленинградских отказников, среди которых я волей-неволей был замечен, получила разрешение только одна семья — наша. За нашим

маршрутом напряжённо следили из Ленинграда, Израиля, Вены, США, Англии... Другим нашим мотивом было чувство благодарности. В Ленинграде мы были анекдотически бедны, а в последние 2-3 года, когда я работал кочегаром, жили буквально на сохнутовские посылки (можно сказать поэтому, что и мой Ходасевич сделан на еврейские деньги). Так что не будет большим преувеличением сказать, что Израиллю и евреиству мы обязаны не только свободой, но и жизнью. Здесь мы *назвались* евреями — и нам поверили на слово. В России же меня все равно никто не считал русским: ни советская власть (несмотря на паспортную отметку), ни даже собратья по перу из т. н. второй литературы, — как раз их изощёрнённый (совсем не погромный) антисемитизм стал для меня решающим... Возвращаясь к Вашему вопросу, хочу заметить, что нашему выезду могли способствовать и мои литературные публикации на Западе, и открытый стиль жизни (в нашей жуткой коммуналке на ул. Воинова всегда толпился народ, мы никогда не осторожничали), и общая неадекватность нашего поведения. Для КГБ мы были одновременно и диссидентами, и сионистами, и литераторами, а я еще — и бывшим учёным (у меня есть кандидатская степень по физ-мат. наукам), — словом, чем-то нестандартным. В таких случаях почтенная организация иногда пасует. Впрочем, в последнее время мы готовились скорее к репрессиям, чем к выезду, — на выезд мы уже не надеялись. А всего мы сидели на чемоданах чуть меньше 10 лет.

Я пока не работаю. Возможно, в ближайшем будущем я получу на год сохнутовскую зарплату в Еврейском Университете — в Институте проблем жизни, по математической биологии, которой я занимался до 1974 года. Моя жена Таня вот уже *два дня* работает part-time корректором в еврейской (русскоязычной) энциклопедии. До этого мы посещали курсы иврита, что давало стипендию, и немного подрабатывали чем придётся.

Относительно *Островов*: я уже очень давно получил сборник — на фотоплёнках, и мне пока просто не на что (в смыс-

ле денег) напечатать его — т. е. *напечатать на фотобумаге*. Здесь это должно стоить около \$150 (чуть меньше 400 кадров), что в полтора раза превосходит наш месячный бюджет. Быть может, я сумею заинтересовать этим Максимова [редактора парижского журнала *Континент* Владимира Максимова] и/или [парижскую газету] *Русскую мысль*? Я написал на *Свободу* [американская радиостанция в Мюнхене], но они ответили уклончиво, по существу — отказом. В любом случае я вышлю Вам ксерокопию *Островов*, как только таковая будет.

Вы спрашиваете, есть ли у нас общие знакомые в Ленинграде. Боюсь, что сейчас — нет. Я хорошо знал Глеба Семенова [поэта, известного в ту пору наставника начинающих] на правах его ученика. Дальше, из людей официальных, — [поэтессу] Н. И. Грудинину (ходил к ней в кружок при Дворце Пионеров в 1960-62) и А. Кушнера, с которым дружил (и ссорился) с 1970 по самый день моего отъезда. Немного знал [переводчицу] Татьяну Гнедич и под ее присмотром начал было переводить из Байрона. Дальше виднеется шеренга писателей-чиновников: Дудин-Ку克林-Шошин-Давыдов-Торопыгин-Кузнецов-Гладкая..., с которыми я сталкивался в редакциях (я немного печатался в 1972-75), на конференциях молодых писателей Северо-Запада, в литературных объединениях, etc. Я не был знаком ни с Шефнером, ни с Гитовичем. Шефнеру я однажды (до 1975) послал в письме мои стихи; В. С. ответил мне: «строить строфу Вы уже умеете» (текстуально), и дальше что-то в том же снисходительно-уничижительном духе. (Действительно, строить строфу я уже умел, поскольку сочиняю стихи с 1952, с шести лет.) О Гитовиче я собирался писать такую же спекулятивную статью, как о Вашем отце. Ничего не зная об их дружбе и литературной группе, я видел их близость — литературную и человеческую, и оба меня очень интересовали. О Чивилихине я только слышал — от поэта И. Л. Михайлова (это его я расспрашивал о Лифшице). Других названных Вами участников группы Гитовича я не знал даже по именам. Вы говорите о моей эрудиции — между тем, я дилетант, и Ваше письмо вновь ставит мне на

вид этот печальный факт. Я вырос в семье, где моим литературным увлечениям всячески противодействовали. Меня сумели убедить в необходимости заниматься точными науками, и сейчас я очень чувствую нехватку филологического образования. Кстати, кто такой Селин? Литературной среды, атмосферы, где представления можно впитывать прямо из воздуха, в надлежащем возрасте у меня не было. Я всё время думаю об этом, перечитывая Ваше письмо... Может быть, общие знакомые найдутся у нас среди неподцензурных авторов, хотя и здесь у меня не было близких друзей. В 1980 я оказался в кочегарке — и в самом центре второй литературы. Я работал с Охапкиным, Пудовкиной, Вл. Хананом, знал Стратановского, Игнатову, Тамару Буковскую, Шнейдермана, Кривулина... и еще многих — в лицо и по их сочинениям... Мое положение в этом кругу было особым: я добивался отъезда, а в нем господствовали настроения почвеннические и православные... Здесь, в Иерусалиме, я подружился с Мишей Хейфецом, о Г. Орлове не слышал, а с Милославским, пожалуй, и не стану знакомиться: так мне несимпатичны его сочинения. О нем говорят как о талантливом прозаике — я же не могу судить об этом, ибо *физически* не в состоянии читать книги, написанные таким языком. Так же я отношусь и к Солженицыну, с Вашей оценкой которого не могу согласиться. Когда автор говорит «засматривает» (вместо «заглядывает»? — Милославский) или: «покинул попытки», «разгарчивый восход», «бесколебно», «укорно», «душилась от смеха», «чело прихмуренное» (Солженицын), я откладываю книгу и только что не бегу к раковине. Как хотите: человек, кощунственно уродующий родной язык, не может быть большим писателем. Язык обладает бесконечным набором выразительных средств, из которых важнейшее — интонация: ни тот, ни другой не понимают этого, не владеют ею. Кажется, о них — знаменитая эпиграмма Боратынского 150-летней давности: «Увы! творец не первых сил...». Чтобы закончить с этим невольным отступлением и до конца отрекомендоваться, добавлю, что по своим литературным (да и не только) убеждениям я консерва-

тор, ретроград — т. е. сторонник *естественного* хода вещей и слов. Я думаю, что левизна в политике (революционеры, большевики) и левизна в искусстве (модернизм, авангард) имеют одну и ту же тёмную, деструктивную, энтропийную природу, — направленную против человека. И еще: новизна присуща таланту как его неотъемлемая компонента — но сознательно ищет новизны только бездарность. Все эти изыски становятся ненужными, если быть человеком и думать о человеке.

20/02/85 [продолжение того же письма]

Все Ваши замечания по статье справедливы. На одну из моих ошибок (с телевизионной башней) мне уже указали. Теперь ясно, что статья должна быть переписана заново, — и переделка затянется, т. к. на меня обрушилась прямо-таки лавина новой информации. Теперь было бы стыдно отделаться поверхностным взглядом — а именно им я и хотел обойтись: я ведь прочел *только одну* книгу Вашего отца — упомянутую. Вторым (и последним) источником были устные рассказы И. Л. Михайлова. Я не читал ни детских, ни сатирических стихов В. Лифшица, ни его переводов, ни *Датской Легенды*; я не знал ни его песен, ни о его участии в Евг. Сазонове [пародийный муляж советского писателя, коллективный псевдоним сатириков московской Литературной газеты]. Все это подталкивает меня от спекулятивной заметки перейти к исследованию — и я не знаю, достанет ли у меня на это сил и времени в моей новой жизни (где всё пока так зыбко). А [мюнхенский журнал] еще требует сократить текст до 17 стр. Быть может, пристойным компромиссом будет — исправить очевидные неточности, сосредоточиться на Клиффорде, и отложить исследование до лучших времен... Вы спрашиваете, есть ли у меня книги Хренкова и Бахчаняна. Дорогой Лев, у меня нет *ничего*, я вывез 18 книг, в основном — словари. Ибо ничего везти нельзя. И ничего нельзя послать по почте. У меня нет даже книги Вашего отца, на которую я ссылаюсь. Так что если Ваша симпатия ко мне не перейдёт в нечто противоположное после моих признаний и деклараций, и

если у Вас найдется лишний экземпляр, — пришлите, пожалуйста... Да, я читаю по-английски, хотя и неважно. Здесь волей-неволей мне придется совершенствоваться, ибо английский тут чуть ли не важнее иврита (в научной среде), и говорят на нем решительно все. Книги Bethea о Ходасевиче я, конечно, не знаю. Как и статья о В. Лифшице, мой Ходасевич — безрассудная затея дилетанта, оправданная разве лишь любовью. Но и любовь эта замутнена борьбой эстетических школ, идеологизирована, и мой комментарий — скорее полемика, чем исследование. Затем, всё это сделано менее чем за 2 года, обстоятельства заставляли меня спешить. В начале января 1981 года из 5 книг Ходасевича я знал две (причем плохо) — а в феврале 1983 *вышел* (в типографском исполнении) первый том. Конечно, выношенный десятилетиями труд литературоведа предпочтительнее, но иногда очень к месту оказывается, когда поэт комментирует поэта. Помните собрание Ап. Григорьева, составленное Блоком? Неизбежное оплощение и односторонность бывают плодотворны. А в наши дни мне казалось просто необходимым, чтобы весы качнулись в другую сторону: чтобы консервативное начало в поэзии получило свою апологетику. Сейчас пол-Ленинграда и пол-Москвы подражают обэриутам; ёрничество, разнузданность и поиск экстравагантности стали общим местом — и, в силу курьезной инерции мысли, продолжают считаться условием *sine qua non* высокой поэзии. Наоборот, точность и уравновешенность, прозрачность и строгость — есть для большинства синоним советского академизма. Что же касается обращения со звуком, то здесь вообще утрачены все ориентиры. Точная рифма считается устаревшей, между тем она — языковая данность, и пренебрегать ею — значит пренебрегать родным языком... Не посетуйте на этот набор сентенций: Вы просили представиться подробнее, это я и делаю.

Вы упомянули Э. С. Паперную. В последние полгода в Ленинграде всё шло к тому, что нас с нею познакомят. Моя жена Таня (сама человек очень больной — она перенесла тяжелую операцию на позвоночнике) ухаживала за одной по-

жилой дамой, вдовой Антона Шварца, а Э. С. была ее ближайшей подругой. Но — не привелось, и виноват в этом я: в молодости я отдал дань Хлебникову и обэриутам, в последнее же время эти имена вызывают у меня только скуку, и я не искал сближения с адептами этой школы.

Об эпизоде в *Звезде* мне уже рассказал С. Максудов (Бабёньшев) из *Страны и Мира*.

Знаете ли Вы, что Ваши стихи о гербе Льва Лосева (*Континент* 41) почти в точности описывают красующийся в центре Иерусалима герб известного благотворителя прошлого века Моше Монтефьоре? В нем — «справа лось сохатый», «слева — лев пархатый», а посередине щит с надписью ירושלים (Иерусалим), и еще кое-что. Мы читали Вашу подборку с Мишей Хейфецем, в его новой квартире в Рамоте [район Иерусалима], — и с равным воодушевлением. Если не ошибаюсь, он сказал, что из современных поэтов читает и ценит только Вас и всё еще не может опомниться от этой приятной неожиданности на Ваш счёт.

Спасибо за присланные книги, я прочел их с интересом. Благодаря им и другим подаркам моя библиотека уже отлична от нуля. (Мне подарили здесь даже прижизненного Ходасевича, чего у меня никогда не было в Ленинграде.) Но почему Вы не прислали сборника Ваших стихов? Вы — в числе немногих поэтов, к которым я испытываю безусловное доверие. (Более сильные характеристики я приберегаю для будущих рецензий.) Но я знаю Вас в этом качестве недостаточно, и, как ни интересны очерки, но стихи для меня важнее. Не хотите же Вы сказать, что Вы их не издавали?

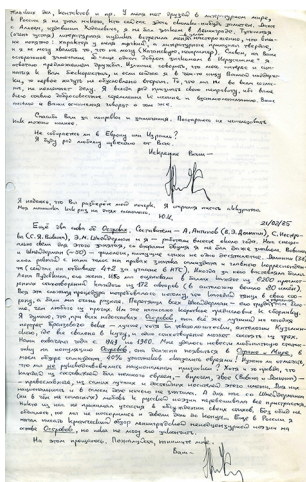
Мои литературные планы таковы. Зарабатывать на жизнь я собираюсь чем-то отличным от литературы, вплоть до ручного труда. Со мной четыре макета сборников объемом по 1,500–900 строк каждый, охватывающих годы с 1970 по 1984, — стихи. Своими силами мне, конечно, их не издать. Ефимов спросил за книжку в 120 стр. \$1,500; *Ардис* мне не ответил, — я отправил туда пакет перед самой смертью Проффера. Меня поощряют в Париже [«поощряли» меня редактор газе-

ты *Русская мысль* Ирина Иловой-Альберти и, в меньшей мере, редакторы журнала *Континент* Владимир Максимов и Наталья Горбаневская], видимо, по ошибке. Мне (через [сотрудника *Русской мысли*] Дедюлина) почти обещаны: а) бесплатная поездка в Париж; б) бесплатное или дешевое издание книжки стихов. Но обещания были даны давно, и за ними ничего не последовало. Я был бы рад получить от Вас советы и наставления насчет издательских дел, контактов и пр. У меня нет друзей в литературном мире, в России я не знал никого, кто сейчас здесь сколько-нибудь заметен. Даже с Аллоем, издавшим [мною двухтомник] Ходасевича [я еще не знал, что Владимир Аллой (1945-2001) издавал двухтомник не в своём издательстве, а в издательстве *La Presse Libre* при *Русской мысли*], я не был знаком в Ленинграде. Тутюшняя (очень густая) литературная публика встретила меня в целом настороженно, что вполне понятно: характер у меня мягкий, а литературные принципы твердые, и я не могу хвалить то, что не могу (Каганскую, например). Словом, на Ваше осторожное замечание об «еще одном добром знакомом в Иерусалиме» я отвечаю предложением дружбы. Излишне говорить, что мои интерес и симпатия к Вам бескорыстны, и если сейчас я в чем-то ищу Вашей поддержки, то первое ничуть не обусловлено вторым. То, что мы не во всем согласны, не мешает делу. Я всегда рад признать свою неправоту, ибо выше всего ставлю добросовестное стремление к истине и взаимопониманию. Ваше письмо и Ваши сочинения говорят о том же.

Спасибо за Ваши поправки и замечания. Постараюсь их использовать как можно полное.

Не собираетесь ли в Европу или в Израиль?

Буду рад любому известию от Вас.



Искренне Ваш —

Юрий Колкер

Я надеюсь, что Вы разберёте мой почерк. Я старался писать аккуратно. Моя машинка как раз на днях сломалась. Ю.К.

21/02/85 [продолжение того же письма]

Еще два слова об *Островах*. Составители — А. Антипов (В. Э. Долинин), С. Нестерова (С. Вовина), Э. М. Шнейдерман и я — работали вместе около года. Нас специально свели для этого занятия, со вторыми двумя я не был даже знаком. Вовина и Шнейдерман (~50) — филологи, пишущие стихи не одно десятилетие. Долинин (38) имел равный с нами голос на правах знатока самиздата и главного корреспондента (сейчас он отбывает 4 + 2 [года заключения в ГУЛАГе] за участие в НТС [политическая партия Народно-трудовой союз, преимущественно зарубежная]). Иногда за него выставяла баллы Лена Пудовкина, его жена. Ибо мы оценивали в баллах каждое из 6200 просмотренных стихотворений каждого из 172 авторов (в антологию вошло 80 имён). Вся эта сложная процедура потребовалась потому, что каждый тянул в свою сторону, а были мы очень разные. Перетянул всех Шнейдерман — его труда и терпения там больше, чем любого из прочих. Им же написано короткое предисловие к сборнику. Я думаю, что при всех недостатках *Островов*, они всё же лучший на сегодня портрет бронзового века — лучше, хотя бы текстологически, антологии Кузьминского, где все свалено в кучу, и одно стихотворение может состоять из трех. Нами охвачены годы с 1949 по 1980. Мне удалось навести любопытную статистику на популяцию *Островов*, она должна появиться в *Стране и Мире* [№1-2, 1985, стр. 104-113], в моем обзоре самиздата. 40% участников оказались евреями! Нужно ли отмечать, что мы не руководствовались национальными признаками? Хотя и то правда, что каждый из составителей был немного евреем, — впрочем, двое (Вовина и Долинин) — православные, из лучших и достойнейших носителей этого имени. Для них национальность и в самом деле ничего не

значила. А для нас со Шнейдерманом (ни в чём не согласных) любовь к русской поэзии перевешивала все пристрастия. Никто из нас не принимал участия в обсуждении своих стихов. Без обид не обошлось, но мы не поссорились и довели дело до конца... Еще в России я начал писать критический обзор ленинградской неподцензурной поэзии на основе *Островов*, но пока не могу его закончить.

На этом прощаюсь. Пожалуйста, напишите мне.

Ваш —

Юрий Колкер

25 июля 1985 г.

Дорогой Юрий,

я рад, что книжки [привезённые мне Юзом Алешковским] пришлись Вам кстати (и что дошли). А-то мне была просто невыносима мысль, что ленинградский интеллигент сидит там в Иерусалиме с пустыми книжными полками, а, может, даже и без полок.

Посылаю Вам ещё сантиметр полочного пространства [это письмо пришло вместе с книгой: Лев Лосев. *Чудесный десант*. Стихотворения, издательство *Эрмитаж*, 1985, — только что изданной тогда

первой книгой стихов Лосева]. Второй экземпляр передайте, пожалуйста, Мише Хейфецу, которого очень бы хотел повидать.

Если [израильский журнал] "22" напечатает статью об отце [не напечатал], я буду рад — культурный журнал, хотя и срывается порой. Я терпеть не могу снобистский удешевленный структурализм для бедных Бар-Селлы (Зеев Змеевич Оборзелло). Конечно, "Континент" [парижский журнал, напечатавший «статью об отце»] заплатил бы... А не отвечают они авторам — это у них такой принцип: я вроде старинный автор и друг, но мне никогда не отвечают.

DARTMOUTH COLLEGE
Department of Russian
HANOVER • NEW HAMPSHIRE 03755
(603) 648-2070

25 июля 1985г.

Дорогой Юрий, я рад, что книжки пришлись Вам кстати (и что дошли). А-то мне была просто невыносима мысль, что ленинградский интеллигент сидит там в Иерусалиме с пустыми книжными полками, а, может, даже и без полок.

Посылаю Вам ещё сантиметр полочного пространства. Второй экземпляр передайте, пожалуйста, Мише Хейфецу, которого очень бы хотел повидать.

Если "22" напечатает статью об отце, я буду рад — культурный журнал, хотя и срывается порой. Я терпеть не могу снобистский удешевленный структурализм для бедных Бар-Селлы (Зеев Змеевич Оборзелло). Конечно, "Континент" заплатил бы... А не отвечают они авторам — это у них такой принцип: я вроде старинный автор и друг, но мне никогда не отвечают.

Помните, в прошлом письме Вы осторожно выражали несогласие с моими оценками Солженицына. Дорогой мой, хотишь ты этого или не хотишь, нас захлестывает политика. И антисоветская политика — самого вонючего качества, куда хуже советской, при всей её жестокости и одиозности. Впрочем, тут сейчас такая влажная жарка, что рассуждать на эти темы нет никакой возможности.

Как у Вас дела? Книжки буду ждать с интересом.

Ваш

друг, но мне никогда не отвечают.

Помнится, в прошлом письме Вы осторожно выражали несогласие с моими оценками Солженицына. Дорогой мой, хотим мы этого или не хотим, нас захлестывает политика. И антисолженицынская политика — самого вонючего качества, куда хуже солженицынской, при всей её жестковатости и однолинейности. Впрочем, тут сейчас такая влажная жара, что рассуждать на эти темы нет никакой возможности.

Как у Вас *дела*? Книжки буду ждать с интересом [речь идёт о моей книге стихов, в ту пору печатавшейся: Юрий Колкер. *Послесловие*. Стихи 1972-78. Издательство *Лексикон*, Иерусалим, 1985; не нахожу письма Лосева с отзывом о ней; не помню его критики; книгу он мою забыл — и так прочно, что свою книгу стихов 1998 года тоже назвал *Послесловие*].

Ваш [подпись забыта]

Занятно! Я ведь, помнится, не о политике писал в связи с Солженицыным, а о языке Солженицына, и на примерах показал, что этот язык, — вот уж где выражение Лосева приемлемо, — «самого вонючего качества». Причём здесь «антисолженицынская политика»? И почему политика, а не партия? Ведь на самом деле тут речь о партийности. Было две партии: гонители Солженицына (советская чернь) и почитатели Солженицына (православные почвенники-патриоты, нередко чуть-чуть антисемиты). Отчего Лосев не оставляет места человеку беспартийному? Я восхищался гражданским мужеством Солженицына, но не ценил его как писателя, — только и всего. Литература и политика с её партийностью — очень разные вещи.

19 августа 1985 г.

Милый Юрий,

только что получил Ваше интересное письмо [не найдено] и сразу же отвечаю. В самом главном я с Вами согласен: существует абсолютный барьер, граница понимания/непонимания, разделяющая поколения [я писал примерно следующее: каждому народу открыта некая своя истина, самая дра-

Так что ежели мы в Ваших глазах «негативисты» (хорошо бы поподробнее), то Вам виднее.

Вышесказанное не означает, что я не признаю в искусстве вечных универсалий. Очень даже признаю. В частности, моё любое суждение строится, прежде всего остального, включая и формальный анализ, к которому как филолог я отношусь с большим уважением, на честной проверке своей первой реакции. Старо — ново, сильно — слабо, изящно — не-ряшливо, натуральный язык, обстоятельства или всё искусственно, выдуманно: всё это для меня вторично. Перво-наперво: интересно — неинтересно. И, возвращаясь к универсалиям, я знаю, *почему* мне интересно или неинтересно: и в прозе и в поэзии произведение интересно, если автор одарен даром воображения, **ВЫМЫСЛА**, того самого, над которым мы и обливаемся слезами.

Проявляется же этот дар в прозе и поэзии по-разному. Вымысел в прозе — это способность рассказывать историю, т. е. протащить читателя через приключения — житейские, интеллектуальные, эмоциональные (а в главных случаях и то, и другое, и третье), на которые он сам, по недостаточности этого дара, не отважился бы, а то просто не догадался бы, что такое возможно.

Мне интересно читать Солженицына, а все остальное — мертворожденные словечки или неправильная историософия мало значительно.

Далее, как критик, я могу попытаться и понять, и объяснить другим, почему мне интересно его читать, а Сашу Соколова неинтересно. Но я не могу себя заставить, чтобы было интересно читать Сашу Соколова, хотя я могу заставить себя прочесть страницу-две и оценить изобретательность, остроумие и проч.

Я назвал Солженицына просто потому, что он фигурирует в нашей переписке. Я бы мог сказать, что мне интересно читать всех т. наз. русских классиков и Джойса, не очень интересно Пруста, совсем неинтересно Беккета.

Вымысел поэта приносит другой плод, нежели вымысел

прозаика. Поэт фиксирует своими словами новый сентимент. Это неуклюжее и неясное определение, но оно и не может быть ясным и уклужим, поскольку ещё Жуковский сказал: невыразимое. Но то, что уже раз было выражено, не невыразимое. Поэтому не может быть хорошей подражательной поэзии. Если Вы правы и есть у меня стихи действительно от Кушнера, то это не стихи.

Иерархия тут не [sic] при чём. Можно быть настоящим поэтом, т. е. всегда называть своими стихами что-то новое, прежде не запечатлённое в русских словах, но при этом быть всё же малым, даже крошечным поэтом, если сила (глубина? ширина? — в нашем словаре нет ничего кроме избитых пространных метафор) нового сентимента недостаточна. Но это уж от Бога. У всех поэтов общий лозунг: кляйне абер майне.

Предисловие. М. б. мне не следовало соглашаться с издателем и писать это предисловие [авторское введение к первому сборнику стихов Льва Лосева *Чудесный десант* (1985)]. Но я написал его честно: и Горбовский, и все остальные названные [т. е. «созвездие поэтических дарований: Сергей Кулле (1936-1984), Глеб Горбовский, Евгений Рейн, Михаил Еремин, Леонид Виноградов, Владимир Уфлянд, Иосиф Бродский»] восхищали и питали меня своими дарованиями в большой степени чем, скажем, более именитые современники — Ахмадулина, Кушнер, Окуджава (называю тех, кого всё же уважаю).

Может быть, Вам не стоило так скороговоркой расправиться с Хлебниковым, [обэриутом] Введенским и вступаться за [Григория] Померанца. Ну их, эти российские разговорчики «под водочку и закусочку» (Набоков), в основном, из двух слов: гений и говно. Ведь если я скажу Вам, как я думаю, что Хлебников — гений, Введенский — высокий талант, а Померанец — классический дилетант, не написавший в жизни ни одного эссе, ни одной статьи (то, что он пишет, вне жанра — это бесконечно выползающая колбаса, которую можно нарезать так, а можно и этак), то это будет так же голословно,

не критерий? который убежден, что все новое, по пословице, это хорошо забытое старое? Слов нет, перепевы скучны. Но талант не может не быть нов в том смысле, что он представляет новую человеческую индивидуальность, — этой новизны мне и довольно у тех, кого люблю и ценю. А то, что подходит под безобразное словечко *новаторство*, взятое из словаря заводского общества рационализаторов и изобретателей, вызывает у меня лишь отвращение. Словечко это скомпрометировано, поэтому бросает тень и на слово *новизна*, и я предпочитаю обращаться с ним осторожно. Для меня же основным в искусстве является не новизна, а совесть, если брать это слово в широком смысле — как со-весть, со-знание; поэтому и «отражения» и «эхо знакомого» (по Вашему выражению) скорее радуют — если, конечно, это не рабское следование великим образцам. Настало время собирать камни, иначе мы останемся ни с чем. Молодость прошла — и наша с Вами, и общества, к которому мы принадлежим, — ему, впрочем, предстоит, вероятно, новая эпоха линьки на рубеже веков, тогда и мы получим право на вторую молодость, если дотянем. Пока же моим лозунгом является пессимизм.

Но, повторяю, у меня есть чувство, что мы говорим об одном и том же (или близком) разными словами, и Ваша *новизна* в той же мере неопределима, как мой *талант*, — т. е. определима лишь рекуррентным образом: через себя же. То же и с Вашим словом *вымысел*. Вы сами в высокой степени одарены качеством, которое этим словом обозначают. Но опять: либо нужно расширить значение слова, либо я Вам возражу, что интонация в литературе по меньшей мере равнозначна вымыслу. Не был ли Герцен лучшим стилистом, чем даже сам Тургенев? Его *Былое и Думы* — и сегодня воспринимаются как прекрасная проза: а Тургенева, после Толстого и Достоевского, нельзя читать без улыбки, даже любя. Позволю себе процитировать суждение Владимира Вейдле, чья недавно прочитанная мною книга *О Поэтах и Поэзии* глубоко меня взволновала: «Мы... не избавились еще от провинциальнейшего предрассудка, согласно которому в прозе нет ис-

куства, если нет вымысла...» (стр. 39). Конечно, эта реплика адресована не Вам, и в своих рассуждениях Вы, по существу, правы, — но, быть может, не до конца.

Я очень рад, что мы согласны насчет Беккета, Саши Соколова и русских классиков, и огорчен, что это не совсем так в отношении Джойса и Пруста. Но здесь мне еще предстоит думать: оба читаны мною недостаточно.

Вы пишете: «Если Вы правы и есть у меня стихи действительно от Кушнера, то это не стихи». Смею думать, что это сказано в запальчивости. Конечно, Вы совсем не похожи на Кушнера, но ведь и величайшие поэты влияют друг на друга, ибо поэзия, этот символ индивидуализма, все же труд коллективный, как и все в человечестве. И можно, например, показать, как ранний Бродский повлиял на раннего Кушнера, а более поздний Кушнер, по принципу обратной связи, повлиял на Бродского. Этим и займутся будущие исследователи. А пока, угадывая (или воображая) у одного поэта характерные интонации другого, но — простиупающие через своё, я и в мыслях не имею зачеркивать первого вторым.

Заметьте, что, говоря в прошлом письме о Померанце, я вовсе не поднимал вопроса о его значении как литератора: я только сказал, что *Континент* допустил в его адрес отвратительную низость. Вы говорите: «бесконечно выползающая колбаса». Да, согласен, композиционно его вещи плохи, ему не хватает сдержанности, но эрудиция его прекрасна, наблюдения иногда остры, а найденный им тон доверительного разговора с читателем, так живо и по-человечески умно противопоставленный отвратительной надменности многих ([Майя] Каганская, и т. п.), оставляет за ним известное место в литературе. Вообще: словом *дилетант* русского писателя не проймешь, дилетантами были величайшие: Тютчев, Толстой, Анненский, Ахматова. Зато каковы профессионалы! Федин, Дудин...

О Хлебникове: в положенном возрасте я пережил увлечение им и прочим дыр-бул-щил'ом. Я буду счастлив увидеть, что я неправ, что он — гений или высокий талант. Я внима-

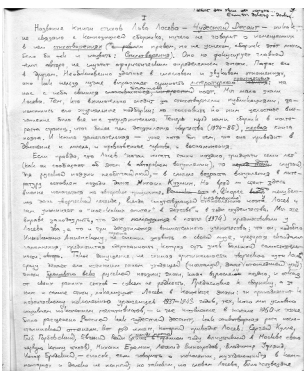
тельнейшим образом слушаю и читаю все, что говорят в его пользу — и не встречаю ничего убедительного. Переучите меня. Я, в свои сорок лет, вообще предпочитаю учиться, а не учить, — и, кроме шуток, ради одного этого поступил бы к Вам в аспирантуру (когда меня здесь отовсюду выгонят). Но боюсь, что в отношении Хлебникова Вы просто находитесь в плену господствующего предрассудка. Гениальность Хлебникова — общее место. И надо вовсе забыть Пушкина и Фета, чтобы признать хорошими пять стихов, цитированных Вами в предисловии [то есть в авторском введении к сборнику *Чудесный десант*]. Но само предисловие — очень уместно, и хорошо написано; только две вещи в нем лишние: рисунок Еремина и стихи Хлебникова*.

[Необходимое пояснение. В предисловии Лосев пишет: «В честь моего переименования [из Льва Лифшица в Льва Лосева] М. Еремин нарисовал вот такую картинку: [изображён лось с головой льва]. Начитанный Еремин безусловно намекал на воспетую Хлебниковым метаморфозу:

Оленю нету, нет спасенья.
Но вдруг у него показалась грива
И острый львиный коготь,
И беззаботно и игриво
Он показал искусство трогать...»

Понятно, что я, не столь начитанный, как Ерёмин, эту «метаморфозу», — с её ритмическим наполнителем «нету, нет» (человек неуклюже запихивает в строку недостающий слог), с двумя однокоренными глаголами в близком соседстве («показалась... показал») и рабским следованием за звуком в рифме (Хлебников по этой части просто глух), уж не говоря о сбое ритма, будто бы художественном, — всегда считал ребячески-беспомощной.]

В заключение решаюсь просить у Вас помощи и совета: не возьмете ли на себя труд прочесть мой очерк жизни и творчества Ходасевича (II том двухтомника) и высказать мне



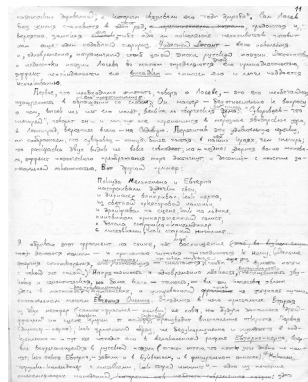
Название книги стихов Льва Лосева — *Чудесный Десант* — никак не связано с композицией сборника, ничего не говорит о помещенных в нём стихах (с равным правом, но не успехом, книгу можно было назвать *Стихотворения*). Оно не фокусирует главной темы автора, не служит афористическим определением пережитой эпохи. Пафос его в другом. Необыкновенно удачное в звуковом

отношении, оно как нельзя лучше выражает сущность *литературного происшествия*: на нас с неба свалился поэт. Мы мало знали Лосева. Тем, кто внимательно следит за стихотворными публикациями, запомнились его журнальные подборки; но составить по ним целостное впечатление было все же затруднительно. Теперь перед нами сборник в полтораста страниц, итог более чем десятилетия творчества (1974-1985), *первая* книга поэта. И книга замечательная — уже хотя бы тем, что она приводит в движение и мысль, и нравственное чувство, и воспоминания.

Если правда, что Лосев «начал писать стихи поздно, тридцати семи лет» (как он сообщает об этом в авторском вступлении), то это случай для русской поэзии почти беспрецедентный, — в смысле возраста вступления в литературу оставлен позади даже Михаил Кузмин. Но вряд ли стоит вполне полагаться на это признание Лосева. Скорее здесь обнаруживается неизбежная дань творческой легенде, всегда сопутствующей поэту. Лосев и сам упоминает о «кое-каких опытах» в детстве и в годы студенчества. Мы же вправе подозревать, что дате помазания в поэты (1974) предшествовали у Лосева два, а то и три десятилетия внимательного ученичества; что он, подобно Иннокентию Анненскому, нарочно не спешил заявить о своей музе, презирал скандалы сомнения, предпочитая сдержанность, которая — знак большой самостоятельности. Это наше подозрение, не снимая ориги-

нальности творческого пути Лосева (оригинального ещё и тем, что его творческое становление как поэта целиком приходится на годы эмиграции; он выехал из Ленинграда в начале 1976 и с тех пор живёт в Америке), сразу делает его истинным сыном отошедшей эпохи *бронзового века* русской поэзии: эпохи, когда взрослые поздно, и отказ от ранее написанного не был редкостью. Предисловие к сборнику, а за ним и самые стихи, локализуют Лосева в контексте эпохи: он принадлежит к поэтическому поколению уроженцев 1937-1943 годов, тех, кого мы условно называем *поколением негативистов*, — и чье появление в начале 1960 тоже было расценено читающей Россией как чудесный десант, как животворная роса постлесталинской оттепели. Вот ряд имен, который приводит Лосев: Сергей Кулле, Глеб Горбовский, Евгений Рейн (между прочим, лишь в 1984 году выпустивший в Москве свою первую книгу стихов), Михаил Ерёмин, Леонид Виноградов, Владимир Уфлянд, Иосиф Бродский, — список, если говорить о поколении, нуждающийся в комментариях и далеко не полный; но таковым, по словам Лосева, было «созвездие поэтических дарований», с которым связывали его «годы дружбы». Сам Лосев без усилия становится в этот ряд, продолжая и, вероятно, замыкая его, — ибо едва ли *поколение негативистов* готовит нам еще один подобный сюрприз. *Чудесный Десант* — веха поколения и, одновременно, пограничный столб целой эпохи русской поэзии. Достоинства и недостатки поэзии Лосева во многом определяются его принадлежностью к поколению негативистов, эффект неожиданности его *высадки* — снижен ею и легче поддается истолкованию.

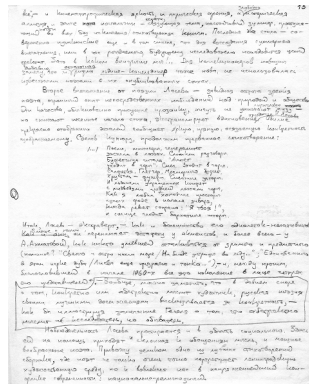
Первое, что необходимо отметить, говоря о Лосеве, — это его необычайная изощренность в обращении со словом, его первоклассный профессионализм. Он мастер — безотно-



сительно к вопросу, «высок или нет его полет, велика ли творческая дума». Вот пример. «Суворовцев — что снегирей», говорит поэт — и мы тут же переносимся в морозное январское утро, в Ленинград, вернее всего — на Садовую. Перечитав эту удивительную строчку, мы соображаем, что суворовец в наших краях птица более частая, чем снегирь; что раскраска двух видов не вовсе совпадает; но — поздно: звуковая волна миновала, поэтическое преображение мира достигнуто, и — с поистине замечательной лаконичностью. Вот другой пример:

Покуда Мельпомена и Евтерпа
настраивали дудочки свои,
и дирижер выныривал, как нерпа,
из светлой оркестровой полыньи,
и дрейфовал на сцене, как на льдине,
пингвином принаряженный солист,
и бегала старушка-капельдинер
с листовками, как старый нигилист...

Я обрываю этот фрагмент на стихе, где мое восхищение делается полным, и приглашаю читателя присоединиться к нему. (Дальше энергия стихотворения и его интонация снижаются, что совсем немудрено, — чтобы ещё раз взмыть с такой же силой.) Напряженность и одновременно легкость, выразительность, насыщенность звуковая и семантическая, но более всего — точность, — все эти качества явлены здесь в масштабах без преувеличения пушкинских, а цитированный кусок выдерживает сравнение с лучшими описательными местами из *Евгения Онегина*. Вглядимся в него пристальнее. Метафора *солист-фрочник — пингвин* не нова, но будучи дополнена «дрейфующим» по сцене световым кругом от юпитера («льдиной»), производит впечатление открытия. Другая метафора *дирижер-нерпа* как зри-



тельный образ не безукоризненна и нуждается в подкреплении — и тут же находит его в великолепной рифме *Евтерпа-нерпа*, впервые встречающейся в русской поэзии (отчасти оттого, что поэты уже давно не помнят, кто такая Евтерпа, — забыли и в буквальном, и в фигуральном смысле). Звук дорисовывает образ, доставляя ему убедительность. Наконец, «старушка-капельдинер с листовками, как старый нигилист» — одно из поистине ошеломляющих попаданий: здесь и кинематографическая яркость, и лирическая ирония, и глубокая историческая аллюзия, и даже нотка ностальгии — кстати, связующая тема, настойчивый зуммер, проступающий почти во всех стихах книги... Эти два стиха — совершенно пушкинские ещё и потому, что, для воссоздания суммарного впечатления, ими в нас рожаемого, будущему Набокову или Лотману понадобится целый трактат. Зато в каком выигрыше мы!.. Для коллекционеров новизны добавлю, что и остаточная рифма *льдине-капельдинер* нова.

Второе впечатление от стихов Лосева — завидная острота зрения поэта, огромный опыт непосредственных наблюдений над природой и обществом. Эти качества, обыкновенно присущие прозаику, вообще говоря, не унижают лирическую музу, но неизбежно снижают песенное начало стиха: вдохновение как бы экстраполируется трудом. У Лосева обилие прекрасно отобранных деталей сообщает яркую, пряную, осязаемую конкретность изображаемому. Сделав купюру, продолжим прерванное стихотворение:

Послы, министры, генералитет
застыли в ложах. Смолкли разговоры.
Буфетчица читала «Алитет
уходит в горы». Снег. Уходит в горы.
Салфетка. Глетчер. Мраморный буфет.
Хрусталь — фужеры. Снежные заторы.
И льдинами украшенных конфет
с медведями пред ней лежали горы.
Как я любил холодные просторы

пустых фойе в начале января,
когда ревет сопрано: «Я твоя!»,
и солнце гладит бархатные шторы.

Искусству конкретного негативисты учились у акмеистов, прежде всего — у Ахматовой, как никто умевшей схватить деталь, оттолкнуться от зримого и предметного образа (вспомним хотя бы: «Свежо и остро пахли морем / На блюде устрицы во льду», или: «Единственного в этом парке дуба / Листва еще прозрачна и тонка»). Ахматова, между прочим, наблюдала подъём этого поколения в начале 1960-х и напутствовала четырех его представителей (А. Наймана, Е. Рейна, Д. Бобышева и И. Бродского, которых обычно называют ахматовскими сиротами). Но родство двух эпох, двух поколений (последнего поколения серебряного века — с первым бронзового) лежит, несомненно, глубже отмеченной мною поверхностной общности, да и своей поэтической зоркостью те и другие распорядились уж очень по-разному. Лев Лосев, как и большинство негативистов, по преимуществу экстраверт.

Наблюдательность дополняется у Лосева склонной к общению мыслью и мощным воображением. Привожу целиком одно из важнейших (и лучших) стихотворений сборника, где поэт не только очень точно портретирует полуподпольную литературную среду, но и вовлекает нас в напряженнейший конфликт современности: национально-религиозный.

«Понимаю — ярмо, голодуха,
тыщу лет демократии нет,
но худого русского духа
не терплю, — говорил мне поэт. —
Эти дождички, эти березы,
эти охи по части могил»,
— и поэт с выраженьем угрозы
свои тонкие губы кривил.
И еще он сказал, распаяясь:
«Не люблю этих пьяных ночей,
покаянную искренность пьяниц,

достоевский надрыв стукачей,
эту водочку, эти грибочки,
этих девочек, эти грешки,
и под утро, вместо примочки,
водянистые Блока стишки;
наших бардов картонные копы
и актерскую их хрипоту,
наших ямбов пустых плоскостопье
и хореев худых хромоту;
оскорбительны наши святыни,
все рассчитаны на дурака,
и живительной чистой латыни
мимо нас протекала река.
Вот уж правда — страна негодяев:
и клозета приличного: нет», —
сумасшедший, почти как Чаадаев,
так внезапно закончил поэт.
Но гибчайшею русскою речью
что-то главное он огибал
и глядел словно прямо в заречье,
где архангел с трубой погибал.

Оба собеседника утрируют: и воображаемый автор монолога, и его молчаливый оппонент, так умело направляющий взгляд обличителя на ухоженный шпиль Петропавловки — и тем переводящий разговор из сферы бытовой в сферу апокалиптическую и мессианскую. Реплики обличителя злы и поразительно метки: ничего случайного, нарисованная им картина реалистична и одновременно пародийна. Кто позволит себе сказать такое о России? «Поэт», как бы невзначай роняет Лосев. Но нам этого мало, нас провоцируют доискиваться и домысливать, и мы добавляем еще одну важную характеристику: интеллигент. Интеллигенция (конечно, не в советском значении этого слова, а в единственно возможном: русском) была и остается в России *национальным меньшинством*; перед нами монолог жертвы культурного геноцида. Сложность, однако, в том, что в последние десятилетия появились новые

основания (а с ними — и новый соблазн) понимать это ино-сказание буквально. Этнос русской интеллигенции сдвинулся, незначительные тюркская и немецкая примеси, не исчезнув, уступили первенство вполне ощутимой семитской. Возможно, автор монолога и не еврей, прямых указаний на это нет. Мы знаем, что он — просто статистически — окажется *полукровкой* или *квартиронцем*, если этот образ собирательный. Но довольно и того, что он — интеллигент, самой природы меньшевик, страдающий и протестующий, а потому и приравниваемый черню к еврею. Да и кто ещё назовет российский дух — худым? А вот кто: Чаадаев и Есенин, — отвечает Лосев. Монолог обличителя лишь в части своих реалий современен (и, повторю, очень точен; его вариации я слышал десятки раз); вообще же он лишь повторяет мысли Чаадаева да мимоходом цитирует Есенина («страна негодяев»). Пётр Чаадаев, русский европеец с ордынской фамилией, приятель Шеллинга, собеседник Ламенне, оппонент Пушкина, — вот кто прежде говорил о России подобное. Он и стал, по замечанию современного мыслителя, отцом русской интеллигенции, касты отверженных протестантов, где, как мы видим, духовная преемственность осуществляется куда вернее кровной. Мы видим это — в настойчиво повторяемом местоимении *наши, нас*, в той страсти, с которой герой стихотворения говорит о России. Чужак не найдет в себе на это душевных сил, не станет расходовать их попусту. Так снимается (или, по крайней мере, разрешается внутри стихотворения) болезненнейший конфликт современности, живо волнующий Лосева. — Но куда же смотрит новый Чаадаев? — На плоскую, аккуратно позолоченную, круто накрененную фигуру архангела с отброшенной в сторону трубой (все вместе — как крыло птицы, ибо это флюгер), обнимающего подножие громадного латинского креста, — на шпиль барочного собора бывшей царской тюрьмы. В последних четырех стихах, произнесённых уже голосом автора, мы слышим и совершенно тютчевскую удрученность ношей крестной, и его же веру в христианское возрождение России (высмеянную другими интеллигентами:

Герценом и теми, кого он разбудил), и ноты жертвенной экзальтации, — все то, что в высшей степени характерно для сегодняшней творческой интеллигенции. Строфа уравновешена антистрофой, картина получилась стереоскопически емкой и удивительно живой...

К сожалению, именно здесь приходится начать неизбежный разговор о недостатках* книги. Досадная неточность в восьмом стихе портит это прекрасное стихотворение: «кривить губы» можно с выражением отчаянья, презрения, досады, но никак не угрозы (неподходящей здесь и по смыслу). Мимике гнева служат брови.

.....

*«Неизбежный разговор о недостатках» не состоялся. Статья не закончена. Писалась она в 1985 году, во времена тысячелетнего большевистского рейха, с верой в читателя и литературу... с верой в людей, с мечтой о людях... Пиши я несколько позже, я назвал бы Лосева и его «созвездие поэтических дарований» (с именами совершенно забытыми) не поколением негативистов, а гастрономическим поколением. Уж больно эти духовидцы и жизнелюбы сильны по части брюховки. Выбираю наугад у Бродского (с непременно желудочным *себе*): «Купи себе на ужин / какого-нибудь сладкого вина...», «Возьмем себе чуть-чуть икорки / и водочки на ароматной корке...». Водочки! Вижу русского человека, чисто по-русски самовлюбленного, самодовольного, себя убажашающего... Или вот вам Рейн, певец Елисеевского гастронома: «Здесь плыла лососина, как регата под розой заката». Но полный чемпион тут, конечно, сам Лосев: «Осетринка с хреном поплыла вниз по батюшке по пищеводу...».

6 сентября 1986 г.

Милый Юрий,

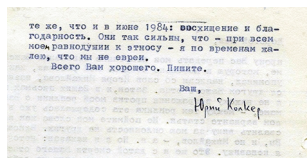
получил сегодня Ваше шедшее 7 недель письмо с полу-статьей [моей незаконченной статьёй о стихах Лосева]. Теперь я могу считать, что есть 2½ интересных отклика на книжку: Парамонова, Джерри Смита (Оксфордского стиховеда специалиста по 18 веку [опозорившего себя фразой, достойной

мою оплошность на других. Виноваты не Вы, и не Михайлов, — а я. Но я и наказан: неточности я ненавижу. То же и с датой смерти Вашего отца. Но здесь я даже не знаю, брать ли мне вину на себя: непостижимым образом я утратил копию рукописи, посланной в *Континент*. Но вот еще странность: в Вашем письме ко мне от 26 января 1985, действительно, значится другая дата: 28 октября 1978; почему же теперь Вы пишете: «на два с половиной месяца позже», — а не на два ровно?

Вы спрашиваете о той давней публикации в *Литературном Курьере* и о самом журнале. Журнал — тонкий, кажется, не самого высокого пошиба, но и не бульварный, издается где-то в Америке, редактор — не то Моргулис, не то Марголин. Номера у меня нет. Помещены в нем были письма — Белоцерковского и еще чье-то — начальству радиостанции, текст Вашей передачи, реплика Коржавина (как всегда, длинная и невразумительная, но в Вашу и Солженицына пользу) и еще что-то против кляузников. Но забудем об этом. Клеветают на тех, кому завидуют. Замечательно, что Вы — как некогда Карамзин — держитесь правила не возражать тем, кто выступает против Вас в печати.

Тайный Советник — превосходное название для книги стихов, замечательная находка. Но Вы правы: сами стихи, по-видимому, окажутся не в моем вкусе. Об этом говорят Ваши последние публикации, из которых мне безусловно нравится лишь стихотворение, давшее название книге. Сам я издаю небольшое стихотворное сочинение под названием *Антивенок*, а еще четыре тома дожидаются своей очереди (которая может и не наступить).

Прижились ли мы в Израиле? — Надеюсь, что да, хотя жизнь еще очень далека от установившейся. Но мои чувства к этой стране и к этому народу — в точности те же, что и в июне 1984: восхищение и благодарность. Они так сильны, что — при всем моем равнодушии к этносу — я по временам



жалею, что мы не евреи.

Всего Вам хорошего. Пишите.

Ваш,

Юрий Колкер

18 ноября 1986 г.

Дорогой Юрий,

спасибо за письмо.

Отвечать-то кляузникам я не отвечаю, но материал для новых инсинуаций собираюсь подкинуть. Написал довольно большую работу, озаглавленную попросту — "Солженицын и евреи". Там я исследую проклятый вопрос в рамках сдержанного структурализма.

«Тайный советник» выйдет, видимо, весной. А вообще я стихов сейчас не пишу (месяца полтора), а когда не пишу, то думаю, что и не буду больше писать. А так и спокойнее.

Несколько дней гостил у меня Ю. Кублановский, поэт, конечно, но очень ровный и со слишком уж монолитной идеологией, но иногда такой замечательный, что дух захватывает.

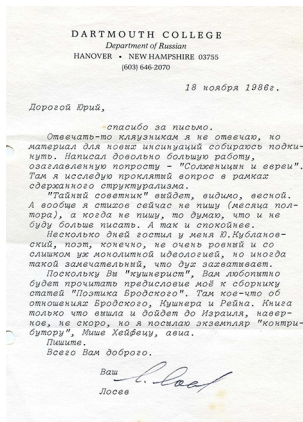
Поскольку Вы «кушнерист», Вам любопытно будет прочитать предисловие моё к сборнику статей "Поэтика Бродского". Там кое-что об отношениях Бродского, Кушнера и Рейна. Книга только что вышла и дойдет до Израиля, наверное, не скоро, но я посылаю экземпляр "контрибутору", Мише Хейфецу, авиа.

Пишите.

Всего Вам доброго.

Ваш

Лосев



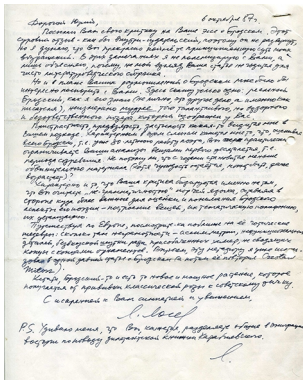
В сентябре 1987 года я закончил статью о Бродском, заказанную мне В. Полухиной для её университетского литературоведческого сборника. В письме от 26 сентября Полухина пишет мне: «Спасибо за статью, которую я прочла с большим интересом, правда, в два приседа: потребовался перерыв, так как я начала задыхаться от Вашего негативного пафоса... Статья Ваша очень длинная. Я предпочитаю, чтобы Вы сократили её сами. Я прошу прощения, что не ограничила Вас в размере статьи раньше...».

Тогда же выяснилось, что соредактором сборника Полухиной становится Лосев. Я написал Полухиной, что мою статью он, человек партийный, не пропустит. В письме от 12 октября 1987 года она подтвердила это: «Вы предугадали реакцию Лосева...».

Заключительная часть моей переписки с Лосевым состоит из двух писем и «внутри-издательского отзыва» Лосева на мою статью о Бродском.

6 октября 87 г.

Дорогой Юрий,



Посылаю Вам свою критику на Ваше эссе о Бродском. Этот суровый отзыв — как бы внутри-издательский, поэтому он не развернут, но я думаю, что Вы прекрасно поймёте принципиальную суть моих возражений. В этих замечаниях я не полемизирую с Вами, а лишь объясняю, почему, на мой взгляд, Ваша статья не годится для чисто литературоведческого сборника.

Но и в плане Ваших размышлений о Бродском мне было бы интересно поспорить с Вами. Здесь скажу только одно: реальный Бродский, как я его знаю (не лично, это другое дело, а именно как писателя), неизмеримо мудрее того талантливого, но вздорного и безответственного поэта, который изображен у Вас.

Пристрастность, предвзятость, застылость какая-то видит-

ся мне в Вашем подходе. Характерным в этом смысле кажется мне то, что, оценивая всего Бродского, т. е. уже 30-летнюю работу поэта, Вы практически ограничиваете Ваши анализы вещами первого десятилетия, т. е. периода созревания. Не потому ли, что с годами становится меньше обвинительного материала (хотя чуждость остаётся, может быть, даже возрастает)?

Характерно и то, что Ваша критика базируется именно на том, что Вы считаете «не-грамматичностью», порчей языка, оставляя в стороне куда более важные для оценки и понимания Бродского аспекты его поэзии — построение его вещей, их тематическую полифонию, их детализацию.

Путешествуя по Европе, посмотрите-ка поближе на её готические шедевры: сколько там неграмотности — асимметрии, нефункциональных деталей, безвкусной шутки ради прищипанных химер, не сводящих концы с концами орнаментов. Впрочем, эту метафору я уже использовал в одной давней статье о Бродском (а потом её повторил Czeslaw Milosz).

Кстати, Бродский-то и есть то новое и мощное растение, которое получается от прививки классической розы к советскому дичку [отсылка к стихам Ходасевича: «Привил-таки классическую розу / К советскому дичку...»].

С искренней к Вам симпатией и уважением,

Л. Лосев

P. S. Удивило меня, что Вы, кажется, разделяете общие в эмиграции восторги по поводу дилетантской книжки Карабчиевского [Юрий Карабчиевский. *Воскресение Маяковского*. Мюнхен, 1985.].

Л.

Приведённое письмо, единственное от Лосева — не на бланке Дартмутского колледжа, было написано на обороте первой страницы его «внутрииздательского отзыва» (по его собственному определению) на мою статью о Бродском, отправленного письмом к Полухиной. Вот этот отзыв:

слишком загромождает свой текст иллюстративным материалом, демонстрирует слишком уж тонкие грамматические нюансы в солецизмах Бродского, когда было бы достаточно нескольких наиболее ярких примеров.

Но пафос, содержание и, конечно, метод литературоведения (любой школы) совершенно иные.

Прежде всего, литературоведческая работа не может быть оценочна. Литературовед одинаково заинтересован Пушкиным и Кукольниковым, Пастернаком и Долматовским не потому, что он всеяден, а потому, что он обращается к тому или иному автору с целью выявить структурные (в том числе и в до-, и в постструктуралистском смысле) особенности процесса создания автором литературного текста, бытования этого текста как такового и его (текста) прагматики, участия в культурном процессе.

Последняя область литературоведения включает в себя и аксиологический аспект, но лишь при строго системном подходе. Как литературовед я не могу рассуждать, почему Бродский лучше или хуже Кушнера или Дмитрия Острового, тем более, апеллируя к своему собственному религиозно-философскому опыту, это было бы и некорректно, и непрактично — таким путём никого, кроме заведомых единомышленников, не убедишь. Задача литературоведческой аксиологии — очертить возможно точнее и подробнее контуры той культурно-исторической модели, которая вырабатывает свою ценностей незыблемую скалу, которая помещает Бродского выше или ниже Кушнера (или Анатолия Чепурова).

Выступление Колкера неприемлемо в научной дискуссии ещё и потому, что даже важнейшие для своих построений термины — «романтизм», «консерватизм», «модернизм», «авангардизм» — он не считает нужным определить. Между тем, без таких дефиниций серьёзному читателю просто трудно понять Колкера. На каждом шагу возникают сомнения. Взять, например, как он употребляет термин «романтизм» (см. стр. 15 и др.). Похоже, что романтизм для него это литературное течение, для которого характерен образ автора,

лирического героя, противопоставляющего себя обществу, презирующего толпу, «странного человека» почти в духе штабс-капитана Солёного. Но ведь для романтизма не менее характерно и беспрецедентно пристальное внимание к «другим» людям. Надо ли объяснять — даже странно — такому образованному автору, как Колкер, что и романтическая ирония — это сложная система философствования, а не презрительная насмешка надо всем и вся, как он это пытается представить в пылу полемики.

Ещё хуже обстоит дело с использованием таких понятий, как «модернизм» и «авангардизм». Уже то, что Колкер уверенно ставит между ними знак равенства дисквалифицирует его, на мой взгляд, как участника научной дискуссии о поэтике Бродского (равно как и Ахматовой, и Маяковского, и Ходасевича, и любого другого художника, работавшего в период модернизма, ок. 1860 – ок.1940 г.г.).

Наконец, обязательным в корректной научной полемике является учёт всего накопленного знания о дискутируемом предмете, тогда как Колкер, в духе полемики риторической (журналистской, проповеднической, застольной) игнорирует широко доступные сведения и мнения о поэзии Бродского. Например, солидная часть его статьи отведена разбору двух важнейших для раннего Бродского вещей, «Исаака и Авраама» и «Большой элегии Джону Донну». Колкер обсуждает их, даже не упоминая их жанра, непосредственно связанного с западно-европейским барокко (вероятно, впервые после Державина так смело введенного в русскую поэзию Бродским). Оставляет он без внимания и другую жанрообразующую традицию, освоенную в русской поэзии впервые Бродским — традицию англо-американского модернизма (см. пред. абзац). А ведь без учёта уникальных жанровых особенностей этих и других вещей все наблюдения над словоупотреблением либо мало-, либо вовсе не-релевантны. Дело не в списывании грамматических небрежностей на «высокое косноязычие», а в требованиях жанра — отражать с максимальной точностью именно поток сознания, фиксация на процес-

се, а не на продукте. (Знаю по опыту: когда в 1976 г., редактируя КПЭ и ЧР я предложил Бродскому выправить очевидную нелепость с «прописной» буквой (вместо *строчной*), он отказался — вульгарный каламбур подразумевает и грамматическую неправильность, здесь есть несомненная логика, хотя бы она была и не по вкусу Колкеру.)

Порою умолчание Колкера об очевидном, но мешающем его концепции лезет в глаза, даже если читать его статью как журнально-полемическую, а не как исследовательскую. Уже на первой странице он цитирует Бродского об искусстве: «основной его закон... независимость деталей». Может ли статья, что он не слышал о провозглашенном Элиотом принципе *objective correlative*? Но если читать Бродского, не видя, как органично сошлись в нём из разных почв выраставшие, но уже сближавшиеся до появления нашего поэта поэтики акмеизма и английского модернизма, это значит читать пол-Бродского.

Я уверен, что Колкер весь относящийся к делу историко-литературный и философско-эстетический материал отлично знает. Но он сделал ошибку, полагая, что косметическая операция — подбавить цитат — может превратить полемическую атаку в исследовательскую статью. Эта ошибка поправима. Статью надо печатать, но не в научном сборнике.

Вспомни, создавались ли в советской научной политике условия для всего накопленного знания о доисторическом прошлом, тогда как Колкер, в свою очередь историком (Гаркавицкий, проломивший, восточной) историком широко доступным сведениям и знаниям о прошлом Бродского — например, основная часть его статьи отсылает к работам Луски — в частности для Бродского «Вопросы», «Слова и Азбука» и «Вопросы жизни Венеры Долгой». Колкер оспаривает их, даже не упомянув ни слова, непосредственно связанного с академическими фактами. Например, впервые после Державина так слово выделено в русском языке (Бродского) — оставлено им без внимания и другим интерпретациям традициям, особенно в русской поэзии первой половины XIX века — например, в отношении своего происхождения (см. пред. абзац). А ведь был учёный выделительный материал, особенности этого и других вещей при учётом того, что он — восточный человек, сформировавшийся в западной культуре. Даже не в отношении языка, а в отношении языка. (Знаю по опыту: когда в 1976 г. редактору КПЭ и ЧР я предложил Бродскому выправить очевидную нелепость с «прописной» буквой (вместо *строчной*), он отказался — вульгарный каламбур подразумевает и грамматическую неправильность, здесь есть несомненная логика, хотя бы она была и не по вкусу Колкеру.)

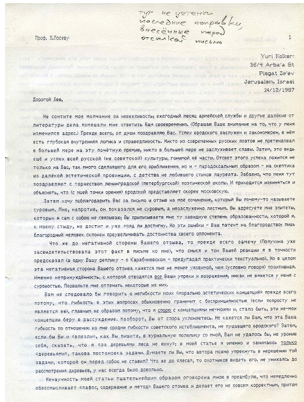
Порою умолчание Колкера об очевидном, но мешающем его концепции лезет в глаза, даже если читать его статью как журнально-полемическую, а не как исследовательскую. Уже на первой странице он цитирует Бродского об искусстве: «основной его закон... независимость деталей». Может ли статья, что он не слышал о провозглашенном Элиотом принципе *objective correlative*? Но если читать Бродского, не видя, как органично сошлись в нём из разных почв выраставшие, но уже сближавшиеся до появления нашего поэта поэтики акмеизма и английского модернизма, это значит читать пол-Бродского.

Лосев отсылает мне свой отзыв 6 октября 1987 года, а 10 декабря этого года Бродскому была присуждена нобелевская премия по литературе, с чем я и поздравляю Лосева в моём ответном письме, которым наша переписка завершается.

Проф. Лосеву

Yuri Kolker
36/4 Arba'a St
Pisgat-Ze'ev
Jerusalem, Israel
24/12/1987

Дорогой Лев,



Не считите мое молчание за невежливость: ежегодный месяц армейской службы и другие далекие от литературы дела помешали мне ответить Вам своевременно. (Обращаю Ваше внимание на то, что у меня изменился адрес.)

Прежде всего, от души поздравляю Вас. Успех Бродского [присуждение ему нобелевской премии] заслужен и закономерен, в нем есть глубокая внутренняя логика и спра-

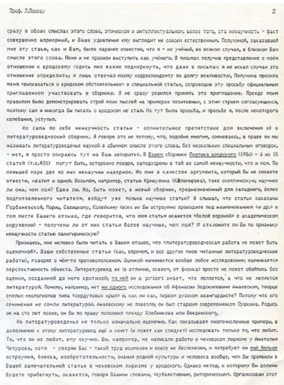
ведливость. Никто из современных русских поэтов не претендовал в большей мере на эту почетную премию, никто в большей мере не заслуживает славы. Затем, это ведь еще и успех всей русской (не советской) культуры, гонимой ее чести. Отсвет этого успеха ложится не только на Вас, так много сделавшего для его приближения, но и — парадоксальным образом — на скитника из далекой эстетической провинции, с детства не любившего стихов лауреата. Забавно, что меня тут поздравляют с торжеством ленинградской (петербургской) поэтической школы. И приходится извиняться и объяснять, что (с моей точки зрения) Бродский представляет скорее москвскую.

Затем хочу поблагодарить Вас за письмо и отзыв на мое сочинение, который Вы почему-то называете суровым. Мне, напротив, он показался не суровым, а незаслуженно лестным. Вы адресуете мне эпитеты, которых я сам с собою не связываю; Вы приписываете мне ту завидную степень образован-

ности, которой я, к моему стыду, не достиг и уже вряд ли достигну. Но эти ошибки — Ваш патент на благородство; лишь благородный человек склонен преувеличивать достоинства своего оппонента.

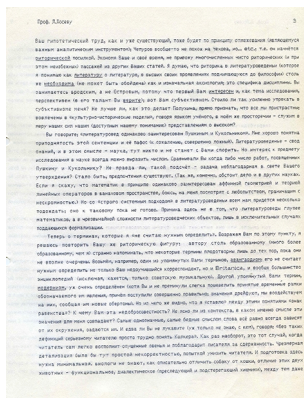
Что же до негативной стороны Вашего отзыва, то прежде всего замечу (Полухина уже засвидетельствовала этот факт в письме ко мне), что смысл и тон Вашей реакции я в точности предсказал (а одну Вашу реплику — о Карабчиевском — предугадал практически текстуально). Но в целом эта негативная сторона Вашего отзыва кажется мне не менее уязвимой, чем (условно говоря) позитивная. Именно непринужденность, с которой отводятся все Ваши упреки и возражения, никак не вяжется у меня с суровостью. Позвольте мне оттенить некоторые из них.

Вам не следовало бы говорить о негибкости моих «морально эстетических концепций» прежде всего потому, что гибкость в этих вопросах обыкновенно граничит с беспринципностью (если попросту не является ею), главным же образом потому, что я спорю с концепциями не-моими и, стало быть, эти не-мои концепции беру в рассуждение. Наоборот, Вы от спора уклоняетесь. Не кажется ли Вам, что эта Ваша гибкость по отношению ко мне сродни гибкости советского истеблишмента, не пушавшего Бродского? Затем, если бы Вы и «влезли», как Вы пишете, в журнальную полемику со мной, Вам не удалось бы, не уронив себя, сказать, что я «за деревьями леса не вижу»: в моей статье я именно и занимаюсь только «деревьями», такова постановка задачи. Думаете ли Вы, что автора можно упрекнуть в нерешении той задачи, которой он перед собою не ставил? Что же до «леса», то охотников видеть его, не унижаясь до рассмотрения деревьев, у нас всегда было довольно.



Ненаучность моей статьи тщательнейшим образом оговорена мною в преамбуле, что немедленно обесмысливает «пафос, содержание и метод» Вашего отзыва и делает его не совсем корректным, притом сразу в обоих смыслах этого слова, этическом и интеллектуальном. Более того, эта ненаучность — факт совершенно априорный, и Ваше удивление ему выглядит не совсем естественным. Полухиной, заказавшей мне эту статью, как и Вам, было заранее известно, что я — не ученый, во всяком случае, в близком Вам смысле этого слова. Меня и не просили выступить как ученого. В письмах получив представление о моем отношении к Бродскому (здесь мне важно подчеркнуть, что даже в письмах я не искал случая это отношение сформулировать; я лишь отвечал моему корреспонденту по долгу вежливости), Полухина просила меня «высказаться о Бродском обстоятельнее» в специальной статье, сопроводив эту просьбу официальным приглашением участвовать в сборнике. Я не сразу решил ее принять это приглашение. Прежде моим правилом было демонстрировать строй моих мыслей на примерах позитивных, с этим строем согласующихся, поэтому сам я никогда бы писать о Бродском не стал. Но тут была просьба, и просьбе я, после некоторого колебания, уступил.

Но сама по себе ненаучность статьи — сомнительное препятствие для включения ее в литературоведческий сборник. Я говорю это не потому, что, подобно многим, сомневаюсь, вправе ли мы называть литературоведенье наукой в обычном смысле этого слова, без нескольких специальных оговорок, — нет, я просто опираюсь тут на Ваш авторитет. В Вашем сборнике *Поэтика Бродского* (1986) — 6 из 15 статей (т.е. 40%) могут быть, осторожно говоря, заподозрены в той же самой ненаучности, что и моя. По меньшей мере две из



может как следует) исследовать только то, что любит. То, что он не любит, ему скучно. Вы, например, не написали работы о чеховском лиризме у Анатолия Чепурова [намёк на статью Лосева: *Чеховский лиризм у Бродского*. Поэтика Бродского. Сборник статей под редакцией Л. В. Лосева. Эрмитаж, 1986, стр. 185-197], хотя — уверяю Вас — такой труд возможен и вовсе не бесполезен, и потребует он *еще больше* остроумия, блеска, изобретательности, знания родной культуры и человека вообще, чем Вы проявили в Вашей замечательной статье о чеховском лиризме у Бродского. Однако метод, к которому Вы должны будете прибегнуть, окажется, говоря Вашими словами, «субъективным, риторическим». Организован этот Ваш гипотетический труд, как и уже существующий, тоже будет по принципу отмежевания (являющемуся важным аналитическим инструментом): Чепуров вообще-то непохож на Чехова, но... etc.; то есть он начнется *риторической* посылкой. Экономя Ваше и свое время, не привожу многочисленных чисто риторических (и при этом необходимых) пассажей из других Ваших статей. Я думаю, что риторика в литературоведении (которое я понимаю как *литературу* о литературе, в высших своих проявлениях поднимающуюся до философии) столь же *необходима* (не может быть обойдена) как и изначальная аксиология; это специфика дисциплины. Вы занимаетесь Бродским, а не Островым, потому что первый Вам интересен и, как тема исследования, перспективен (в его талант Вы верите): вот Вам субъективизм. Стоило ли так усиленно упрекать в субъективизме меня? Не лучше ли, как это делает Полухина, прямо признать, что все мы пристрастны: вовлечены в «культурно-исторические модели», говоря языком учебного, в моем же просторечии — служим в меру наших сил доступным нашему пониманию представлениям о высоком?

Вы говорите: «литературовед одинаково заинтересован Пушкиным и Кукольниковом». Мне хорошо понятна приподнятость этой сентенции и ее пафос (к сожалению, совершенно ложный). Литературоведение — свод знаний, и в этом смысле — наука, тут никто и не станет с Вами спорить. Но интерес к

предмету исследования всегда можно выразить числом. Сравнивали Вы когда либо число работ, посвященных Пушкину и Кукольникову? Не правда ли, такой подсчет — задача неблагоприятная в свете Вашего утверждения? Стало быть, предпочтения существуют. (Так же, конечно, обстоит дело и в других науках. Если я скажу, что математик в принципе одинаково заинтересован аффинной геометрией и теорией линейных операторов в банаховом пространстве, боюсь, на меня посмотрят с любопытством, граничащим с нескромностью.) Но со «строго системным подходом» в литературоведении всем нам придется несколько подождать: оно к таковому пока не готово. Причина здесь не в том, что литературоведы глупее математиков, а в чрезвычайной сложности литературоведческих объектов, лишь в исключительных случаях поддающихся формализации.

Теперь о терминах, которые я «не считаю нужным определить». Возражая Вам по этому пункту, я решаюсь повторить Вашу же риторическую фигуру: автору столь образованному (много более образованному, чем я) странно напоминать, что некоторые термины плодотворны лишь до тех пор, пока они не вполне очерчены. Возьмем, например, один из упомянутых Вами терминов, *авангардизм*: его не считает нужным определить не только Ваш недоучившийся корреспондент, но и Britannica, и вообще большинство энциклопедий (исключая, кажется, только советскую музыкальную). Другой упомянутый Вами термин, *модернизм*, уж очень определён (хотя Вы и не преминули слегка пошевелить принятые временные рамки обозначаемого им явления, причем поступили совершенно правильно: значения дрейфуют, мы воздействуем на них, сообщая им новые обертоны). Но из чего же видно, что я «ставлю» между этими понятиями «знак равенства»? К чему Вам эта недобросовестность? Не ясно ли из контекста, в каком именно смысле эти значения для меня совпадают? Самые однозначные, самые бедные смыслом слова все равно всегда зависят от их окружения, задаются им. И едва ли Вы не лукавите (уж только не знаю, с кем), говоря: «без

деляемое многими, — с тем, чтобы никогда больше к этой теме не возвращаться. До этой работы Бродский значился на отдаленной окраине моих интересов. Как политическая фигура, он очень сильно повлиял на русскую интеллигенцию и, вероятно, определил внешнюю сторону моей судьбы. Не будь Бродского, я скорее всего не жил бы там, где живу. Но как поэт он значил и значит для меня мало. Не родился он вовсе или умри десять лет назад — мое отношение к русской поэзии и положение по отношению к ней были бы примерно теми же. И хотя споры в области мысли никогда не решаются большинством голосов, но Вам не следовало бы упускать из виду, что подавляющее большинство читателей русской поэзии Вашей конвенции о Бродском не принимает.

За произнесенную мною оценку Бродскому я совершенно спокоен: ей предстоит полное торжество. Не в том смысле, что она вытеснит Вашу (будучи последовательным плюралистом, я первый восстану против такого рода торжества), нет, она просто пошатнет кумирню (воздвигнутую по образу и подобию советских литературных кумирен), освободит ту правду, которая содержится в Вашем подходе, от партийных и конъюнктурных пут и встанет рядом с нею как равновеликая истина. Затем включится мировой маятник, и каждая эпоха будет поворачивать к себе Бродского той стороной, которая ей выгоднее. В частности, в недалеком будущем, на рубеже столетий, когда подлинный интерес к поэзии возродится, очень многие, я уверен, пожелают увидеть Бродского так, как его вижу я. Поэтому я не слишком огорчен тем, что Вы отклонили мою статью: она может подождать (хорошо написанные тексты живут долго), адекватный перевод ее на английский затруднителен, да и иноязычный читатель мне не интересен. Все это я имел в виду, приступая к работе над статьей. Я старый скептик, и еще до Вашей кооптации в редколлегию, имея от Полухиной официальное приглашение участвовать в сборнике, сомневался в том, что убедительную критику на Бродского согласится поместить кто-либо из его страстных приверженцев, связанных с ним профессиональными интересами.

вспоминаться с усилием. И уж не обижайтесь, но мне трудно было сдержать улыбку, когда я увидел, что Вы, «сурово» упрекнув меня в дилетантизме, тут же удивляетесь моим симпатиям к другому дилетанту.

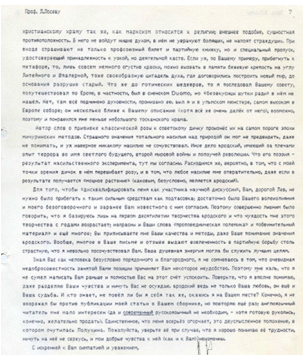
Вы пишете: «обязательным в корректной научной полемике является учет всего накопленного знания о дискутируемом предмете, тогда как Колкер...», etc. Позвольте спросить Вас, знакома ли Вам такая форма критики, как умолчание (равносильное непризнанию), и всерьез ли Вы полагаете, что в работе, ограниченной пространством и временем, можно учесть «все накопленное знание» о каком бы то ни было предмете? Допустим (сверх всякого ожидания), что на второй вопрос Вы ответили положительно. Я скажу Вам, что из соприкосновения с науками менее спекулятивными, чем литературоведенье, я вынес другую этику: сформулировав задачу, привлечь лишь тот материал, который необходим и достаточен для ее решения, если же имеются несколько путей решения, то из этого множества выбирать простейший и наиболее аскетический. Ученость не сводится к бряцанию эрудицией. Простые мысли (а научная мысль всегда проста) лучше всего выражаются простыми словами. Поэтому я сомневаюсь, что, отметив зависимость Бродского от западноевропейского барокко («смело», однако же «после Державина введенного...») и от англо-американского модернизма, я пролью свет на художественный смысл встречающихся у него скабрёзностей. Едва ли мог бы служить этому и «провозглашенный Элиотом принцип objective correlative», о котором, к нашей обоюдной радости, до Вашего письма я не слышал. Это ведь тоже одна из привилегий дилетанта: он может позволить себе выборочно овладевать «знанием всех тех богатств, которые выработало человечество» [слова Лосева «учет всего накопленного знания» напомнили мне ходульное нравоучение советской поры «Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество» (Ленин)]. Малейшее прикосновение к Элиоту всегда вызывало во мне чувство, которое, щадя Ваше почте-

ние к этому имени, я осторожно назыву отталкиванием.

В Вашем письме, приложенном к отзыву, Вы пишете нечто в высшей степени знаменательное: «реальный Бродский, как я его знаю (не лично, это другое дело, а именно как писателя), неизмеримо *мудрее* того талантливой, но вздорного и безответственного позера, который изображен у Вас...». Боюсь, что *дело* здесь не *другое*, а как раз это, и

перед потомками Бродский представит таким, каким Вы его здесь обрисовали. Мне легко поверить, что Бродский в жизни мудрее, чем в стихах, и я рад слышать, что это так. В стихах же его есть очень многое (в том числе и прекрасное), но мудрости им не хватает; ее условно меньше, чем вздорности. Мне, некоторым образом, посчастливилось: я никогда не видел и не слышал Бродского, поэтому мой эксперимент чист: я — *уже потомок*. И я не сомневаюсь, что аберрация, которой подвержены Вы, Полухина, Эткинд и еще многие, а точнее — немногие, но влиятельные в литературных кругах люди, есть результат колоссального личного обаяния Бродского, качества, сделавшего его не только литературным эпонимом, но и политической эмблемой эпохи. Мне всегда казалось и по сей день кажется, что главная часть гигантского дарования Бродского покинута в области нелитературной.

«Пристрастность, предвзятость, застылость какая-то видится в Вашем подходе...» — Дорогой Лев, зачем Вы даете мне такой повод для внутреннего торжества? Пристрастность и предвзятость мы только что обсудили, но *застылость* — ведь это же аргумент из разряда *сам дурак*. Вы увидели из моей статьи, что *сгеда* Бродского (а значит, и Ваше) кажется мне вчерашним днем, что оно слишком привязано ко времени, к 1960-м, где и по сей день «тикают» его стихи, что нравственно-эстетическая работа 1970-х и 1980-х, выведшая нас в



эпоху постмодернизма, новая простота, новая гармоническая точность, — все это не далось ему, и это (а не эмиграция, как твердит «общий глас») вредит его поэзии. Вы могли догадаться, что негативная привязанность Бродского к советской власти, к системе, которую поэту пора бы уже не замечать, кажется мне чрезмерной до забавного. Конечно, мы все — продукт тоталитаризма, когда-нибудь по этому признаку нас и объединят. Но в следующем (за вами) поколении многим кажется застылостью, *позитивной* привязанностью к советской власти три вещи: ваша (Ваша, Бродского и других) приверженность к соприродному ей авангарду; ваша потребность господствовать в сегодняшней литературе посредством внешних регалий, владеть ею на правах нового литературного генералитета; и ваша нетерпимость к инакомыслию. Вы произвольно переносите в свободный мир худшие из советских моделей.

О Вашей неумеренной привязанности к прошлому стоит сказать отдельно. Вы засвидетельствовали ее уже в самой первой фразе введения к Вашему сборнику 1986-го года. Вы пишете: «Иосиф Бродский занимает исключительное положение — первого поэта в стране, где к поэзии относятся как к самому значительному искусству» [*Бродский: От мифа к поэту*. Поэтика Бродского. Сборник статей под редакцией Л. В. Лосева. Эрмитаж, 1986, стр. 7-14]. Оба содержащиеся тут утверждения не просто неверны: они карикатурны. Сознаете ли Вы, что в этой Вашей сентенции Вы одновременно подражаете Ленину и Сталину? Подобно первому, Вы провозгласили важнейшее из наших искусств, подобно второму — талантливейшего поэта. Но смешны они еще и потому, что Вы в них предстаете таким школьным учителем литературы, не только уверяющим, но и верящим, что Чернышевский был вершителем судеб России. Между тем Россия не Исландия, и не только Бродский, но и поэзия, за пределами школьных учебников, не занимает в ней никакого места. О тамошнем месте Бродского даст представление тот *факт*, что читателей у него несоизмеримо меньше, чем у (неудачно) высмеянного

им Андрея Вознесенского; о месте поэзии как искусства — то, что в народном сознании поэт либо шут во князьях, на правительственном до-вольствии (Евтушенко, Вознесенский), либо отщепенец, продавший-ся западным спецслужбам (Галич). Ваши слова не выглядели бы столь смешно, если бы Вы уточнили, о ка-кой «стране» (аудитории) идет речь, если бы Вы сказали: «Россия — это я и кружок близких мне людей». На такое заявление Вы име-те право как поэт. Как исследователя, учитывающего «все на-копленное знание о дискутируемом предмете», Вас, вероятно, заинтересует, что думают о дискутируемом предмете в Рос-сии. А думают там по-разному, например, так: «Крупные эпо-хи культуры часто проходят под знаком одного определяюще-го рода искусства. XX век, особенно вторая его половина, — время музыки. Почему рок определил развитие культуры по-следних двадцати пяти лет — тема длинного разговора...» (*Страна и мир* 4(40), 1987, с. 120). Что «определил» — со-мнений для автора тут нет. По своему построению и даже ин-тонационно это авторитетное свидетельство в точности сов-падает с Вашим.

Ваше уподобление Бродского «готическим шедеврам» Европы, хоть и заимствованное у Вас еще одним нобелев-ским лауреатом, третьим в моем сегодняшнем письме, тоже крайне неудачно, — если только вы имели в виду соборы. За деревьями Вы не разглядели леса. Поэзия Бродского — соо-ружение, относящееся к христианскому храму так же, как марксизм относится к религии: внешнее подобие, сущностная противоположность. В него не войдут нищие духом, в нем не уврачуют болящих, не напоят страждущих. При входе спра-шивают не только профсоюзный билет и партийную книжку, но и специальный пропуск, удостоверяющий принадлеж-ность к узкой, но деятельной касте. Если уж, по Вашему при-

КОММЕНТ

В переписке Васе передаю мысль о том, что (1911) и вино, что за мостовые делами бы мери-вать галиты. В отличие от меня в Вашем письме к Бродскому, к ней я еще добавлю мысль, что не-одни из нас были мостовыми, но и мы не были мостовыми. Ветер был бы мостовым, если бы не что-то такое, что мостовым сделать нас не позволило, что вышло за пределы мостового ремесла. Но не выходя из рамок Бродского, в котором я вижу и свое переживание. В конце по-этического диалога с Бродским, в котором я так люблю, я добавлю: галиты, не за них мне переживалось вино. Тогда бы, в конце концов, было бы вино. Потому что галиты — это вино.

Вот так — не выходя из рамок Бродского, в котором я так люблю, я добавлю: галиты, не за них мне переживалось вино. Тогда бы, в конце концов, было бы вино. Потому что галиты — это вино.

Вот так — не выходя из рамок Бродского, в котором я так люблю, я добавлю: галиты, не за них мне переживалось вино. Тогда бы, в конце концов, было бы вино. Потому что галиты — это вино.

Вот так — не выходя из рамок Бродского, в котором я так люблю, я добавлю: галиты, не за них мне переживалось вино. Тогда бы, в конце концов, было бы вино. Потому что галиты — это вино.

Вот так — не выходя из рамок Бродского, в котором я так люблю, я добавлю: галиты, не за них мне переживалось вино. Тогда бы, в конце концов, было бы вино. Потому что галиты — это вино.

Вот так — не выходя из рамок Бродского, в котором я так люблю, я добавлю: галиты, не за них мне переживалось вино. Тогда бы, в конце концов, было бы вино. Потому что галиты — это вино.

Вот так — не выходя из рамок Бродского, в котором я так люблю, я добавлю: галиты, не за них мне переживалось вино. Тогда бы, в конце концов, было бы вино. Потому что галиты — это вино.

Вот так — не выходя из рамок Бродского, в котором я так люблю, я добавлю: галиты, не за них мне переживалось вино. Тогда бы, в конце концов, было бы вино. Потому что галиты — это вино.

Вот так — не выходя из рамок Бродского, в котором я так люблю, я добавлю: галиты, не за них мне переживалось вино. Тогда бы, в конце концов, было бы вино. Потому что галиты — это вино.

Вот так — не выходя из рамок Бродского, в котором я так люблю, я добавлю: галиты, не за них мне переживалось вино. Тогда бы, в конце концов, было бы вино. Потому что галиты — это вино.

Вот так — не выходя из рамок Бродского, в котором я так люблю, я добавлю: галиты, не за них мне переживалось вино. Тогда бы, в конце концов, было бы вино. Потому что галиты — это вино.

Вот так — не выходя из рамок Бродского, в котором я так люблю, я добавлю: галиты, не за них мне переживалось вино. Тогда бы, в конце концов, было бы вино. Потому что галиты — это вино.

Вот так — не выходя из рамок Бродского, в котором я так люблю, я добавлю: галиты, не за них мне переживалось вино. Тогда бы, в конце концов, было бы вино. Потому что галиты — это вино.

Вот так — не выходя из рамок Бродского, в котором я так люблю, я добавлю: галиты, не за них мне переживалось вино. Тогда бы, в конце концов, было бы вино. Потому что галиты — это вино.

Вот так — не выходя из рамок Бродского, в котором я так люблю, я добавлю: галиты, не за них мне переживалось вино. Тогда бы, в конце концов, было бы вино. Потому что галиты — это вино.

Вот так — не выходя из рамок Бродского, в котором я так люблю, я добавлю: галиты, не за них мне переживалось вино. Тогда бы, в конце концов, было бы вино. Потому что галиты — это вино.

Вот так — не выходя из рамок Бродского, в котором я так люблю, я добавлю: галиты, не за них мне переживалось вино. Тогда бы, в конце концов, было бы вино. Потому что галиты — это вино.

Вот так — не выходя из рамок Бродского, в котором я так люблю, я добавлю: галиты, не за них мне переживалось вино. Тогда бы, в конце концов, было бы вино. Потому что галиты — это вино.

Вот так — не выходя из рамок Бродского, в котором я так люблю, я добавлю: галиты, не за них мне переживалось вино. Тогда бы, в конце концов, было бы вино. Потому что галиты — это вино.

Вот так — не выходя из рамок Бродского, в котором я так люблю, я добавлю: галиты, не за них мне переживалось вино. Тогда бы, в конце концов, было бы вино. Потому что галиты — это вино.

Вот так — не выходя из рамок Бродского, в котором я так люблю, я добавлю: галиты, не за них мне переживалось вино. Тогда бы, в конце концов, было бы вино. Потому что галиты — это вино.

Вот так — не выходя из рамок Бродского, в котором я так люблю, я добавлю: галиты, не за них мне переживалось вино. Тогда бы, в конце концов, было бы вино. Потому что галиты — это вино.

Вот так — не выходя из рамок Бродского, в котором я так люблю, я добавлю: галиты, не за них мне переживалось вино. Тогда бы, в конце концов, было бы вино. Потому что галиты — это вино.

Вот так — не выходя из рамок Бродского, в котором я так люблю, я добавлю: галиты, не за них мне переживалось вино. Тогда бы, в конце концов, было бы вино. Потому что галиты — это вино.

Вот так — не выходя из рамок Бродского, в котором я так люблю, я добавлю: галиты, не за них мне переживалось вино. Тогда бы, в конце концов, было бы вино. Потому что галиты — это вино.

Вот так — не выходя из рамок Бродского, в котором я так люблю, я добавлю: галиты, не за них мне переживалось вино. Тогда бы, в конце концов, было бы вино. Потому что галиты — это вино.

Вот так — не выходя из рамок Бродского, в котором я так люблю, я добавлю: галиты, не за них мне переживалось вино. Тогда бы, в конце концов, было бы вино. Потому что галиты — это вино.

Вот так — не выходя из рамок Бродского, в котором я так люблю, я добавлю: галиты, не за них мне переживалось вино. Тогда бы, в конце концов, было бы вино. Потому что галиты — это вино.

Вот так — не выходя из рамок Бродского, в котором я так люблю, я добавлю: галиты, не за них мне переживалось вино. Тогда бы, в конце концов, было бы вино. Потому что галиты — это вино.

меру, прибегнуть к метафоре, то, лишь совсем немного сгустив краски, можно вызвать в памяти бежевую крепость [«Литейный, бежевая крепость, подъезд четвертый, КГБ» (Бродский)] на углу Литейного и Шпалерной, тоже своеобразную цитадель духа, где договорились построить новый мир, до основания разрушив старый. Что же до готических шедевров, то я последовал Вашему совету, попутешествовал по Европе, в частности, был в сиенском Duomo, но «безвкусицы шулки ради» в нем не нашёл. Нет, там всё подчинено духовности, пронизано ею. Был я и в ульмском мюнстере, самом высоком в Европе; он несколько ближе к Вашему описанию (хотя всё же очень далёк от него), возможно поэтому и понравился мне меньше небольшого тосканского храма.

Автор слов о прививке классической розы к советскому дичку [Ходасевич; эти его слова цитирует Лосев] произнес их на самом пороге эпохи мичуринских методов. Страшного значения тотального насилия над природой Ходасевич мог не предвидеть, даже не понимать, и уж наверное никакому насилию не сочувствовал. Иное дело Бродский, имеющий за плечами опыт террора во имя светлого будущего, второй мировой войны и ползучей революции. Что его поэзия — результат насильственного эксперимента, тут мы согласны. Расходимся же, вероятно, в том, что с моей точки зрения дичок в нём перешибает розу, и в том, что любое насилие мне отвратительно, даже если в результате получается «мощное растение» (каковым, безусловно, является Бродский).

Для того, чтобы «дисквалифицировать меня как участника научной дискуссии», Вам, дорогой Лев, не нужно было прибегать к таким сильным средствам как подтасовка: достаточно было Вашего волеизлияния и моего безоговорочного и заранее Вам известного с ним согласия. Поэтому совершенно лишним было говорить, что я базируюсь лишь на первом десятилетии творчества Бродского и что чуждость мне этого творчества с годами возрастает; напрасны и Ваши слова «проповедническая полемика» и «обвинительный материал» и еще многое: Вы приписываете мне Ваши качества и мето-

ды, даже Ваше понимание значения Бродского. Вообще, многое в Вашем письме и отзыве выдает вовлеченность в партийную борьбу столь страстную, что я невольно посочувствовал Вам. Ваша душевная энергия могла бы служить лучшим целям.

Зная Вас как человека безусловно порядочного и благородного, я не сомневаюсь в том, что очевидная недобросовестность занятой Вами позиции [по отношению ко мне; Лосев отклоняет мою статью о Бродском, формально заказанную мне Полухиной] причиняет Вам некоторое неудобство. Поэтому мне жаль, что я не сумел написать Вам раньше и полностью Вас на этот счет успокоить. Поверьте, что я вполне понимаю, даже разделяю Ваши чувства и ничуть Вас не осуждаю. Бродский ведь не только Ваша любовь, он еще и Ваша судьба. И кто знает, не повел ли бы я себя так же, окажись я на Вашем месте? Конечно, я не возражал бы против публикации моей статьи в Вашем сборнике, но повторяю еще раз: англоязычный читатель мне мало интересен (да и современный *русскоязычный* не необходим), — хотя готовую рукопись, конечно, желательно продать. Единственное, что меня всерьез огорчает, это двусмысленное положение, в котором очутилась Полухина. Пожалуйста, уверьте ее при случае, что я хорошо понимаю ее трудности, ничуть на нее не сержусь, и мои добрые чувства к ней (как и к Вам) неизменны. С искренней к Вам симпатией и уважением,

Юрий Колкер

P. S. 4/01/1988

Я перечитал Ваше предыдущее письмо ко мне (от 18.11.86) и вижу, что на некоторые реплики Вы могли ждать ответа.

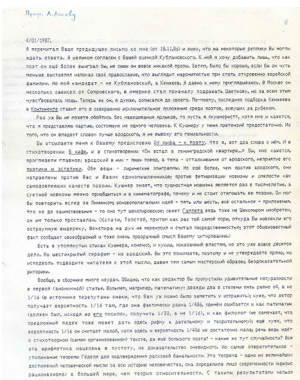
Я целиком согласен с Вашей оценкой Кублановского. К ней хочу добавить лишь, что как поэт он еще более выиграл бы, не пиши он вовсе никакой прозы. Затем, было бы хорошо, если бы он чуть меньше выставлял напоказ свое православие, что выглядит нарочитостью при столь откровенно еврейской фамилии. Но мой кандидат — не Кублановский, а Кенжеев. Я

давно к нему приглядываюсь. В Москве он несколько зависел от Сопровского, в Америке стал поначалу подражать Цветкову, но за всем этим чувствовалась мощь. Теперь же он, я думаю, дописался до своего. По-моему, последняя подборка Кенжеева в *Континенте* ставит его в совершенно исключительное положение среди поэтов, живущих за рубежом.

Раз уж Вы не можете обойтись без навязывания ярлыков, то пусть я «кушнерист», хотя мне и кажется, что я представляю партию, состоящую из одного человека. К Кушнеру у меня претензий предостаточно. Из того, что он владеет словом лучше Бродского, я не вывожу его гениальности.

Вы отсылаете меня к Вашему предисловию *От мифа — к поэту*

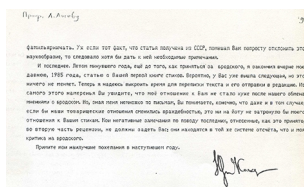
[Поэтика Бродского. Сборник статей под редакцией Л. В. Лосева. Эрмитаж, 1986, стр. 7-14]. Что ж, вот два слова о нём. И в стихотворении [Кушнера] *В кафе*, и в стихотворении [Кушнера] «Он встал в ленинградской квартире...» Вы, мне кажется, проглядели главное: Бродский в них — лишь повод, а тема — отталкивание от Бродского, неприятие его поэтики и эстетики. Обе вещи — лирические эпиграммы. Но еще более, чем против Бродского, они направлены против Вас и Ваших единомышленников: против фетишизации новизны и смелости как самодовлеющих качеств поэзии. Кушнер знает, что сущностная новизна является раз в тысячелетие, а суетная новизны можно приобщиться и в кинематографе, почему и не стоит отягощать ею поэзию. Он мог бы повторить вслед за Линником: основополагающих идей — пять или шесть, всё остальное — приложения. Что же до заимствования — то оно тут шекспировское: сюжет Гамлета ведь тоже не Шекспиром изобретен, он им только прославлен. (Кстати, Толстой, притом как раз той самой поры, откуда Вы извлекли его остроумную выдержку, Шекспира на дух не переносил и считал по-



средственностью; этот общеизвестный факт сообщает своеобразный и тоже прозрачный смысл Вашему цитированию.)

Есть в упомянутых стихах Кушнера, конечно, и кукиш, показанный властям, но это уже вовсе десятое дело. Но шестикрылый серафим — не Бродский. Вы это понимаете, поэтому и не утверждаете прямо, но исподволь подводите читателя к этой мысли, давая тем самым мастерский образец бездоказательной риторики.

Вообще, в сборнике много неудач. Обидно, что как редактор Вы пропустили удивительные несуразности в первой (анонимной) статье [(Аноним) Сборник статей под редакцией Л. В. Лосева. Эрмитаж, 1986, стр. 16-37]. Возьмем, например, математику: дважды два в степени пять равно 64, а не 1/16 (в источнике перепутаны знаки, что Вам уж можно было бы заметить и исправить); хуже, что автор получает вероятность 1/16 там, где она фактически равна 1/486, причем ошибается и как математик (должен был, исходя из *его* посылок, получить 1/32, а не 1/16), и как филолог (не замечает, что предложный падеж тоже может дать здесь рифму к дательному и творительному); еще хуже, что вероятность в 1/16 он считает малой, хотя здесь и вероятность 1/486 не достаточно мала: речь ведь идет о стихотворном (самом организованном) тексте, да еще большого поэта! — какие уж тут случайности? Вся эта арифметика нацелена в пустоту, на доказательство очевидного. Но самое отвратительное — упоминание теоремы Гёделя для подтверждения расхожей банальности. Эта теорема — одно из величайших достижений мысли за всю историю человечества, она определила лицо современности (кризис рационализма) в большей мере, чем теория относительности. С такими результатами нельзя фамильярничать. Уж если тот факт, что статья получена из СССР, помешал Вам отклонить это жалкое наукообразие, то следовало хотя бы дать к ней необходимые примечания.



И последнее. Летом минувшего года, еще до того, как приняться за Бродского, я закончил вчерне мою давнюю, 1985 года, статью о Вашей первой книге стихов [сохранился только незаконченный вариант]. Вероятно, у Вас уже вышла следующая, но это ничего не меняет. Теперь я надеюсь выкроить время для переписки текста и его отправки в редакцию. Из самого этого намерения Вы увидите, что мое отношение к Вам не стало хуже после нашего обмена мнениями о Бродском. Но, зная меня немножко по письмам, Вы понимаете, конечно, что даже и в том случае, если бы наши товарищеские отношения сменились враждебностью, это ни на йоту не затронуло бы моего отношения к Вашим стихам. Мои негативные замечания по поводу последних, отнесенные, как это принято, во вторую часть рецензии, не должны задеть Вас: они находятся в той же системе отсчета, что и моя критика на Бродского.

Примите мои наилучшие пожелания в наступающем году.

Юрий Колкер

На этом наша с Лосевым переписка и наши отношения обрываются. Что до моей статьи *Лев Лосев и поколение негативистов*, то она так и не была вполне закончена и опубликована — в первую очередь потому, что появилась уже следующая книга стихов Лосева и на подходе была третья, которую он по недосмотру назвал *Послесловием*, повторив название моей книги стихов 1985 года.
